



АЛЕКСЕЙ НЕБОХОВ

# СУККУБ РЕВОЛЮЦИИ

18+

Алексей Небоходов  
**Суккуб революции**

«Автор»

2026

## **Небоходов А.**

Суккуб революции / А. Небоходов — «Автор», 2026

Августину создали в подвале московской аптеки. Она прекрасна, холодна и питается чужой жизнью. В 1923 году Августина прибывает в провинциальный город с мандатом секретаря губкома. Она проводит декрет «Об отмене частного владения женщинами»: мужчина получает «право подхода» к любой. Отказавшуюся объявят мещанкой и отправят в Дом пролетарского оплодотворения. Женщин учитывают, распределяют и отнимают у семей — всё во имя их освобождения. Но согласия у женщин не спрашивают. Город захлёбывается в казённом разврате. Мужчины умирают от «истощения неясной этиологии», но каждый труп прикрыт справкой, а каждый приказ — правильной подписью.

© Небоходов А., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Пролог                               | 5  |
| Глава 1. Пароход                     | 9  |
| Глава 2. Дом предшественника         | 17 |
| Глава 3. Заседание, которое треснуло | 24 |
| Глава 4. Потехин                     | 31 |
| Глава 5. Первая поставка             | 39 |
| Глава 6. Прозекторская               | 46 |
| Глава 7. Декрет                      | 52 |
| Конец ознакомительного фрагмента.    | 59 |

# Алексей Небоходов

## Суккуб революции

### Пролог

Во вторник, в конце сентября 1884 года Карл Густавович Гильбих, статский советник и магистр фармации, вошёл в свой кабинет в доме 12 на Чистопрудном бульваре и первым делом завёл часы. Часы немецкой работы, привезённые ещё отцом, стояли на каминной полке и заводились туго, с сухим щелчком на восьмом обороте ключа. Гильбих считал обороты и никогда не ошибался.

В кабинете не было ничего лишнего и случайного. Склепки стояли, подписанные по алфавиту — от Aconitum до Zincum, бумаги лежали выровненными стопками. Над камином висел портрет Парацельса, в чьём лице Гильбих находил подтверждение собственному упрямству. В нагрудном кармане застёгнутого на все пуговицы сюртука лежал Георгиевский крест. На груди он его не носил, но держал при себе, и металл всегда был тёплым от тела.

Крест он получил под Шипкой, где служил при полевом госпитале и под огнём вынес двух раненых. После Шипки перешёл из лютеран в православие, без излишней аффектации: сказал полковому священнику, что готов, и сам назначил день. Немец в третьем поколении на русской службе, он считал своё происхождение семейным свойством вроде цвета глаз, не обязывавшим ни к чему, кроме аккуратности.

Карл Густавович достал начатую в этом году рукопись. Страницы были исписаны мелко и ровно, без помарок: он всегда обдумывал фразу прежде, чем записать, как дозу прежде, чем отмерить. На листах теснились схемы и латинские формулы. Слово «жизнь» не встречалось ни разу. Встречалось слово «синтез».

В отдельной тетради вёлся лабораторный журнал. Гильбих открыл его и перечитал четыре строки, хотя помнил их наизусть.

1889 год: гниющая масса с запахом сероводорода, утилизация.

1895 год: ткани без связующего, распад на третьи сутки.

1901 год: пульсирующий сгусток, прожил семь часов, остановился.

1907 год: нежизнеспособные органы, анатомически верные и функционально мёртвые.

Двадцать три года работы уместились в четыре строки. Если результат ничтожен, к чему многословие. После каждой неудачи он корректировал метод, но в самой цели не усомнился ни разу: органы, по крайней мере, были анатомически верны.

Обычно, прежде чем спуститься в лабораторию, Гильбих поворачивал бронзовую ветку настенного бра, затем отодвигал платяной шкаф и нажимал замаскированный резьбой выступ. Оба замка работали только вместе. Это была единственная вольность, позволенная им при проектировании дома. Осторожность тут стояла на втором месте, на первом — математическое изящество.

В тот вечер он не спустился. Лишь проверил замки и вернулся к столу. Проверка давно превратилась в ритуал. Ключ поворачивался дважды, язычок со щелчком входил в паз, и только после этого можно было гасить лампу в коридоре.

Убрав журнал, Гильбих положил ключ в карман, к Георгиевскому кресту. Ему нужна была точность. Зарождение жизни случалось само, без всякого умысла, у любой крестьянки под любым забором; повторить её намеренно, шаг за шагом, формула за формулой, было задачей совсем другого порядка и единственной, за которую стоило браться всерьёз.

В прозекторской Мариинской больницы пахло формалином и мокрым камнем. Гильбих приезжал поздно, когда расходился дневной персонал, и прозектор Ланской уже ждал его.

— Мне нужна молодая. Здоровая по женской части. Умершая недавно. И без родни, чтобы хватиться было некому.

Ланской повертел принесённую бутылку «Мартеля» и поставил обратно.

— Такие бывают. В приюте для чахоточных. Родни там ни у кого нет, иначе бы не попали в приют.

Гильбих положил рядом с бутылкой три золотые десятки. Ланской ссыпал их в карман халата.

Через неделю пришла записка. В приюте умерла двадцатилетняя Аграфена Силантьева, прибывшая из деревни под Волоколамском. Ни родителей, ни братьев, только тётка, лежавшая этажом ниже и уже не встававшая. Умерла девятого ноября 1913 года, в четвертом часу пополудни, от чахотки в последней стадии.

Гильбих забрал нужное в ту же ночь, в стеклянном сосуде с приготовленным заранее раствором, и отвез в лабораторию на Чистопрудном, под двойной замок.

Оплодотворение произошло в ноябре под микроскопом, в стеклянной чашке под лампой, температуру которой Гильбих выверял три вечера. Семя было его. Он записал это так же сухо, как состав реактива: вопроса отцовства не существовало, был лишь вопрос соединения материала.

С декабря по июнь велся отдельный температурный журнал. Искусственная матка из стекла, каучука и медных трубок, с паровой грелкой и циркуляцией раствора, требовала постоянного присмотра. Гильбих вставал к ней по ночам, как к больному ребёнку, хотя ребёнком содержимое сосуда не считал.

Развитие шло куда правильнее, чем он рассчитывал, и пугало его именно это. Он ждал сбоя на второй неделе, потом на пятой, потом на десятой. Ничего не ломалось.

В марте у формирующегося тела, помещенного в сосуд без пуповины и связи с материнским организмом, обнаружился пупок. Небольшой, аккуратный, точно пуповина существовала, была перерезана и зажила обычным образом. Гильбих дважды осмотрел его с лупой, записал в журнале: «неразъяснённое», и больше к вопросу не возвращался. На результат это не влияло, а лишнее он с молодости привык откладывать в сторону.

Первого августа 1914 года по Чистопрудному бульвару шла манифестация. Германия объявила России войну. Гильбих не разделял и не осуждал воодушевления города, а отметил его, как температуру раствора.

В тот же день через доверенное лицо пришло письмо от особы царской крови, интересовавшейся трансмутацией органических элементов для «государственной пользы». Великий князь выражался обтекаемо. Гильбих решил, что этот интерес может обеспечить лаборатории надёжное покровительство, и убрал письмо к журналу.

Второго августа он ввёл последний компонент: собственную кровь, выдержанную ночь в холоде, и экстракт желез, приготовленный по формуле, над которой работал два года. Рука его не дрогнула: раствор он вводил так же ровно, как отмерял бы хинин.

Пятнадцатого августа, в двенадцать минут первого пополудни, в праздник Успения Пресвятой Богородицы (совпадение это Гильбих отметил сухо, без всякого благоговения), гомункул открыл глаза.

Гильбих записывал увиденное строка за строкой. Кожа её (создание было женского пола) при свете лампы отливала серебристо-ртутным блеском. Температура тела оказалась на два градуса ниже человеческой, и под пальцами кожа отдавала прохладой камня. Левая половина лица в точности повторяла правую, вплоть до ресниц, и от этой симметрии у него сжало горло. Она не училась садиться, как ребёнок. Села сразу, одним точным движением, словно повторяла заученное.

Обучалась она копированием, настолько стремительным, что оно опережало демонстрацию. Гильбих потянулся к полотенцу, намереваясь показать, как его взять, и она взяла такое

же с соседней полки прежде, чем он закончил движение, повторив наклон руки и хват пальцев. Жест воспроизводился безупречно, смысла в нём для неё не было.

Стыда в ней не наблюдалось. Категория эта отсутствовала в её устройстве, и спрашивать с неё за это было всё равно что с барометра. Обнажённая, она смотрела на своё отражение в стеклянной дверце шкафа без узнавания, как на любой предмет обстановки. Гильбих впервые за двадцать три года поймал себя на том, что не знает следующего шага.

С августа 1914-го по август следующего года дом 12 на Чистопрудном бульваре прожил год помешательства.

Семья Гильбихов была невелика. Супруга, Александра Александровна, содержала училище для девиц и обладала твёрдым характером. Дочери-погодки были почти неразличимы лицом, но разными по характеру: набожная Ксения не снимала серебряного крестика даже в бане, холодная Евгения вела учёт денег в книжечке с кожаным переплётом.

Карл Густавович привёл новое существо в дом, объяснившись туманно и коротко: ни гостя, ни воспитанница, ни прислуга. Домашние, привыкшие не задавать отцу вопросов, приняли её без возражений.

Вскоре разговоры за обедом сделались короче и откровеннее. Прислуга стала опаздывать и являлась с блуждающим взглядом. Александра Александровна впервые ощутила то, что назвала усталостью, хотя тяжесть эта наваливалась именно к вечеру, когда в доме появлялась «она».

Мужчины квартала, соседи и лавочники, дворники, отставной полковник, начали умирать от истощения, причём с блаженными лицами. Пристав и частный сыщик Воронцов пытались очертить на плане радиус смертей, но с каждым случаем он менялся. Воронцов закрыл дело с формулировкой: «причины не установлены, естественный порядок смертности не нарушен». Читать эту бумагу предстояло людям, которых она вполне устраивала.

Великий князь прислал новой обитательнице дома Гильбихов жемчужное ожерелье, затем второе, потом начал писать письма. Всего их набралось двадцать три. Ни на одно она не ответила.

Первой не выдержала Ксения: сперва тайные свидания, затем открытая связь с офицером, потом офицеров стало несколько, а к весне она уже принимала деньги и тратила их, чтобы платить мужчинам за боль, которую прежде почла бы грехом даже помыслить.

Соседи устроили стихийный сход, разбили окна и избили дворника, приняв его за виновника, а явившийся наряд околоточного надзирателя арестовал подвернувшихся под руку, включая Ксению.

Евгения единственная попыталась сопротивляться. К лету она переняла кое-что из способностей новой сестры, научившись читать людей так же безошибочно и мёртво. Это её не спасло: в июле она тихо умерла во сне с таким же блаженным лицом, как мужчины их квартала. Книжечка в кожаном переплёте с записью расходов осталась лежать на тумбочке, раскрытая на июньской странице.

В доме сложилось правило: насыщение через возбуждение неполно и требует всё более частых повторений; насыщение полное, доведенное до предела, не оставляет ничего, кроме умирания отданного целиком.

Пятнадцатого августа 1915 года, ровно через год после пробуждения гомункула, в гостиной дома 12 на Чистопрудном бульваре разбилась склянка с синильной кислотой. Запах горького миндаля заполнил комнаты раньше, чем успели открыть окна. К утру из семьи не осталось в живых никого.

Гильбих умирал в лаборатории, куда яд не проник. Проник ужас: дело его жизни завершилось способом, для которого не нашлось строки в журнале. Последней его мыслью было: «Интересно, что будет дальше?»

Утром та, которую в семье Гильбихов звали Августиной, обошла ещё теплые тела, снимая то, что в них оставалось. До своего создателя она дошла последней, постояла возле него дольше, но есть не стала. Затем собрала жемчуг, подаренный великим князем, и вышла в туман такой плотный, что часовой у соседнего дома её не заметил.

В декабре 1918 года, в реквизированном особняке на Поварской, перед ней лежала записка с фамилией слишком известной, чтобы произносить её вслух, и слишком удобной, чтобы не пользоваться её весом. Она полгода служила здесь по канцелярской части, и ровность её почерка от февраля к июню беспокоила внимательных людей.

В июне под Пермью расстреляли человека, некогда написавшего ей двадцать три безответных письма. Падая, он искал её глаза среди стоявших у стены, хотя её там не было и быть не могло.

Следующие четыре года слились для неё в один урок: прятаться хлопотно и ненадёжно, а числиться в ведомости и штатном расписании спокойнее и доходнее. Она перестала брать необходимое ей украдкой и научилась получать по документу, с печатью и подписью. Власть, если войти в неё через нужную дверь, сама приводит людей и составляет на них список; остаётся числиться в нужном учреждении и подписывать нужные бумаги.

О правилах своей породы она ничего не узнала: учить её было некому. Создатель её лежал под землей, а человек, вынувший материал из мёртвого тела за коньяк и золото, был известен ей лишь по отцовскому журналу. Журнал она подобрала на пепелище, и обложка его до сих пор пахла гарью.

В январе 1923 года пришла бумага за подписью полномочного представителя новой страны в Норвегии, женщины, чьё имя в одних кругах произносили с придыханием, в других с раздражением. Бумага назначала её секретарём губернского комитета в город на Волге, о котором она прежде ничего не слышала.

Но знала одну вещь. Там доживал век Ланской, прозектор, восемь лет назад за бутылку «Мартея» и три золотых червонца вынувший из мёртвой чахоточной девушки то немного, что стало материалом для существа, читавшего теперь эту бумагу. Она сложила лист с назначением вчетверо, убрала в папку и заказала билет на ближайший пароход.

Навигация открывалась в конце апреля.

## Глава 1. Пароход

Доски Вознесенского взвоза размокли до черноты и хлюпали, прогибаясь под ногами. Над дебаркадером стояли три запаха разом: мазута, рыбы и махорки. Ни один не побеждал, все держались плотно, и дышать приходилось сквозь них. Полдень пятницы, 27 апреля 1923 года. Солнца не было, низкие облака шли вниз над рекой и не обещали просвета.

Пристань гудела четвёртый час. Две с лишним сотни человек стояли под мелким дождём, сжатые в одну тёплую массу, и смотрели на пустую воду за поворотом. Первый рейс после ледохода собирал полгорода, и шли сюда поглядеть, кого привезут с верховьев.

Торговки с пирогами и варёными яйцами проталкивались вперёд без надежды: пока нет парохода, на пристани не едят, и правило это держалось прочнее расписания.

Мешочники стояли отдельно, запахнув пальто и убрав руки в карманы, и время от времени локоть у каждого прижимался к боку. Деньги были зашиты в подкладку, и сквозь мокрое сукно они ощущались твёрдым узелком, который надо было нащупать заново.

Артель Фомы Рябого курила вразнобой и плевала через перила, не глядя куда. Мальчишки лазили по сваям, срывались, цеплялись снова и перекрикивались так, что слов не разбирал никто, включая их самих.

Слепой с гармонью сидел на ящике с восьми утра и играл одно и то же. К полудню его перестали слышать, но подавать не перестали.

Толпа то подавалась вперёд, то отступала. Злой она не была и дружной тоже. Голодная, только не по хлебу: по новости, по разговору и по любому событию, которое сдвинуло бы неделю с места.

Двое стояли слева, где доски были посуше, и обоим полагалось быть здесь по должности. Один, Слепцов, заведовал организационным отделом губернского комитета партии, второй, Потехин, начальствовал в губернском отделе ГПУ. Друг другу они не подчинялись, и до сегодняшнего утра власть в губернии делилась между ними пополам, потому что ту, которая стояла над обоими, везли сейчас на пароходе.

Слепцов держался прямо, будто спину ему когда-то выправляли по отвесу. Чистый воротничок, отглаженный пиджак и папка под мышкой. Стоять и ждать он умел лучше всего на свете: этому его выучили в двенадцать лет, в передней дома на Дворянской, и умение с тех пор не устарело ни разу. Переменились только те, кого приходилось дожидаться.

Потехин занимал места больше, чем полагалось человеку его роста. Хромовые сапоги начальник губотдела начистил накануне до полной невозможности смотреть на них, не шурясь, и они скрипели при каждом шаге. Скрип он ценил особо: тот шёл впереди хозяина и предупреждал о нём заранее.

Слепцов знал про эти сапоги и про остальное тоже. За полгода он одиннадцать раз выслушал историю ранения под Бузулуком и помнил её точнее рассказчика: продотряд, вилы в живот, госпиталь и с тех пор — есть только протёртое. Историю эту Потехин выкладывал при каждом новом знакомстве вместо визитной карточки, не сбиваясь ни в одном слове.

— Четыре часа, — сказал Потехин, не оборачиваясь. — В прошлом году ледовая обстановка была хуже, а «Володарский» опаздывал на два.

— Я помню, — ответил Слепцов.

Он действительно помнил. Цифры губернии он знал наперечёт и в бумаги не заглядывал никогда, и это была единственная роскошь, которую он позволял себе на людях.

— А знаешь, кого везут? Бабу! — Потехин повернулся и щёлкнул пальцами. — Ответственным секретарём губкома. Я по своей линии не первый год, всякое видел. Такого не бывает.

— Теперь бывает.

— Я запрос послал в Москву. Вчера пришло донесение с прежнего места службы. Куцее. Очень куцее.

Слово «куцее» начальник губотдела произнёс с удовольствием. Он знал в губернии всех наперечёт и гордился этим больше, чем должностью, и бумага, в которой ничего не оказалось, задевала его лично.

— Первое лицо в губернии, — сказал Слепцов. — Так о ней говорить нельзя.

— Я не так говорю. Я по факту.

— И по факту нельзя, даже вдвоём.

— Значит, стоять и смотреть на реку?

— Нет. Думать, где она будет жить.

— Первый дом Советов, — отрезал Потехин. — Центр, под присмотром. Утром проверил: комната готова, печи топят, вода есть.

Слепцов отметил про себя порядок слов. Присмотр шёл первым, а комната, печи и вода прилагались к нему как удобства.

— Квартира закреплена за должностью. По инструкции. Голенищевский особняк.

— Там полгода никто не жил. Печи надо топить неделю, чтобы вышла сырость.

Слепцов не ответил. Отвечать сразу значило торговаться, а торговаться он не собирался ни сейчас, ни через час.

Потехин достал коробку «Иры», размял папиросу и полез за спичками. Спички были свои, с «Искры». Первая сломалась в пальцах, вторая чиркнула и погасла, и лишь следующая дала огонь, да и то с четвёртого раза, дохнув в лицо кислой гарью. Бертолетовой соли на фабрике не было с зимы, головки спичек мазали составом на селитре, и в губернии на это давно махнули рукой, записав в особенности местного производства.

— Телефона там нет, — сказал Потехин, наконец закурив. — Охраны нет и дров тоже. Ты подумай, как это будет выглядеть, если первое лицо губернии сляжет в апреле в сырой комнате. С кого спросят? С инструкции?

— Аппарат ставят в среду, наряд подписан четырнадцатого, — сказал Слепцов. — Дров отпущено две сажени, они во дворе с осени. Сторож один, ставка девять рублей, оформлен коммунотделом.

Он не заглядывал в папку и не собирался. Числа лежали у него в голове ровными столбцами, и вынимать их оттуда было проще, чем развязывать тесёмки.

— Наизусть держишь?

— Держу.

Начальник губотдела посмотрел на него дольше, чем требовалось, и Слепцов понял, что эта мелочь сейчас укладывается в отдельную графу и будет там лежать долго.

— Первый дом ближе к губкому, — сказал Потехин.

— Малая Дворянская, восемь. Четыре минуты пешком.

Потехин затянулся, посмотрел на воду и сказал не тем голосом, каким говорил до сих пор:

— Голенищев.

И оборвал себя сам. Помолчал, будто пересчитывал, сколько уже сказано и сколько ещё можно.

— Он был до меня. На моей должности.

Слепцов не переспросил. Он кивнул, и кивок годился и для «знаю», и для «не надо». О Голенищеве в губернии помнили ровно столько, сколько помещалось в приказ о переводе, а приказа этого не читал никто. Слепцов читал. Там значилось «в распоряжение», и не значилось чьё.

— По инструкции, — повторил он.

Потехин замолчал. Замолчал он оттого, что запомнил, а не оттого, что уступил, и лицо у него сделалось как у писаря, поставившего галочку в графе, о существовании которой постоянным знать не полагается.

— Инструкция, — сказал он наконец. — Хорошо.

Дым показался на реке раньше, чем молчание сделалось окончательно неудобным. Сначала тонкая полоса над водой, потом гуще, и наконец из-за поворота выполз «Володарский».

Пароход шёл медленно и тяжело, оседая на левый борт. Красили его наспех и с экономией: под свежим суриком проступали буквы старого названия — «Великая княжна Ольга». Подновлять не стали. На букве «ж» краска сошла начисто, и белое светилось насквозь.

Гудок вышел длинный и низкий, и настил под ногами отозвался дрожью.

Слепцов подобрался раньше, чем успел об этом подумать. Плечи развернулись, подбородок ушёл вверх, и руки легли по швам сами. Тело помнило переднюю на Дворянской лучше головы и разрешения не спрашивало.

Толпа пришла в движение. Торговки поправили подолы, мешочники подобрались, а артель погасила папиросы и выстроилась у трапа. Мальчишки закричали.

— Дрова я туда подкину, — сказал Потехин, глядя на реку. — Свои, сухие. Две сажени с осени — это не дрова, это труха.

Слепцов кивнул. Особняк оставался за инструкцией, дом за должностью, а тепло в доме с этой минуты становилось потехинским, и счёт в таких делах предъявляют позже.

Пароход подошёл к пристани, стукнулся о брёвна и замер. Трап опустили.

Дальше всё пошло быстро. Первыми повалили пассажиры третьего класса, с мешками, с корзинами и с детьми на руках, и толпа приняла их, перемешалась с ними и загудела в полную силу. Кого-то обнимали, кого-то не встретил никто, кто-то спрашивал о чём-то местных.

Сошли двое в кожанках, сошёл поп без креста, сошла артель плотников с пилами через плечо. Мешочники искали своих, торговки наконец занялись делом, и пироги разбирали, не спрашивая, с чем. Пахло горячим луком и мокрой холстиной.

Толпа посмотрела всех и не нашла ничего нового.

Через четверть часа она стала расходиться, стекая по взвозу вверх, как вода уходит в щели. Грузчики Фомы Рябого таскали ящики. Милиционер по прозвищу Гнутый проверял документы у слепого гармониста, единственного человека на пристани, чьи бумаги можно было проверить без последствий. Ещё через десять минут на дебаркадере остались мокрые доски, запах мазута и двое у перил.

У трапа стояли двое рабочих и ждали, не берясь за концы. Разгрузку закончили давно, держать сходни было уже не для кого, но никто их не убирал, и никто не спрашивал почему.

Она сошла тогда, когда смотреть стало некому.

Слепцов отметил это первым и отметил именно так: не последней сошла, а когда никого не осталось. Разница была небольшая, но она была.

Пальто он рассмотрел следом. Английский драп, тяжёлый и тёмный, не по апрелю и не по губернии. Такие пальто он подавал и принимал в той же передней восемь лет и различал их на глаз быстрее, чем сводки по уездам. Из-под пальто выглядывало тёмное платье без украшений. В одной руке несессер из крокодиловой кожи, в другой дорожный чемодан, не новый, но добротный.

Чемодан был один.

Перчатки не поддавались определению. Не кожа и не шерсть, а нечто плотнее того и другого, с ровным блеском хорошего воска. Ни складки, ни следа от сгиба на пальцах. Слепцов знал, во что превращается перчатка за одну дорогу от Москвы. Эти выглядели так, словно их ни разу не снимали.

Женщина остановилась на мокрых досках и коротко вдохнула, пробуя воздух на вкус, как пробуют воду перед тем, как пить. Потом повернула голову и оглядела опустевший дебар-

кадер: свай, бочку, ящик и спину уходящего гармониста. Считала она недолго и, судя по лицу, сосчитала.

Только когда каблуки её тронули доски, рабочие взяли за концы и потащили сходни к берегу, скрипя сапогами по дереву.

Потехин шагнул вперёд. Сапоги грохнули по пустому настилу громче, чем ему хотелось, и он на мгновение сбился, а потом решил, что вышло удачно.

— Семён Игнатьевич Потехин, — сказал он, выпрямляясь. — Начальник губотдела ГПУ. Рад приветствовать вас в нашей губернии.

Он протянул руку. Она пожала её, не снимая перчатки, ровно столько, сколько требовал обычай.

— Августина Карловна Гильбих.

Голос звучал ровно, без подъёмов и спадов, как читают инструкцию к станку.

Слепцов подошёл следом. Выдвигаться вперёд ему не понадобилось, он и так стоял прямо.

— Николай Афанасьевич Слепцов. Заведующий орготделом губкома. До вашего приезда исполнял обязанности ответственного секретаря.

Руки он не подал. Стоял и смотрел.

— Мандат, — сказала она.

Не «Вот мой мандат» и не «Если желаете». Одно слово, и оно уже было ответом на вопрос, который он ещё не задал.

Она открыла несессер одним движением, без суеты, и достала сложенный лист.

Слепцов взял бумагу и прочёл её дважды. Сначала быстро, потом медленно, по слову. Затем поднял к свету: низкое апрельское небо давало его ровно столько, чтобы разглядеть водяные знаки. Печать. Подпись. Должность: ответственный секретарь губернского комитета партии, та самая, обязанности по которой до вчерашнего дня исполнял он сам.

Читал он не из подозрения. Так его приучили: читать всё, что подписано сверху; выучившийся по официальным бумагам знает им цену лучше того, кто их пишет. Каждая строка должна была сходиться. Она сошлась.

— Всё в порядке, — сказал он, возвращая лист. — Назначение утверждено, подпись секретаря ЦК, ссылка на решение от двенадцатого апреля.

Он достал из папки журнал прибытия ответственных работников, тонкую книжечку в картонном переплёте, открыл на свежей странице и расписался одним движением пера. Формальность эту не читал никто, но соблюдали все.

Потехин стоял сбоку, заложив руки за спину, и смотрел не на документ, а на чемодан. Люди с постоянным назначением едут с багажом, а не с ручной кладью, и начальник губотдела знал это по своей части лучше всего: один чемодан означает командировку или бегство. Ни то, ни другое к должности ответственного секретаря не лепилось.

Потом взгляд его переменялся.

Перемена вышла без рывка. Ни удивления, ни узнавания: просто взгляд начальника ГПУ перестал быть служебным. Он смотрел на лицо женщины, симметричное и прохладное, с серостальными глазами, которые ничего не выражали.

Он смотрел на неё так, как смотрят на еду, когда давно не ели.

Она это заметила и не сочла событием. Закрыла несессер, поправила перчатку на левой руке коротким движением и перевела взгляд с одного встречающего на другого.

— Машина ждёт?

— Пролётка, — ответил Слепцов. — Автомобилей в губернии два, оба в ремонте с прошлой осени. Запасных частей нет, есть переписка о запасных частях.

— Пролётка, — повторила она без интонации. — Хорошо.

Слепцов посмотрел на Потехина и увидел, что тот всё ещё держит руку на весу, ту самую, которую подавал минуту назад и которую ему уже отдали обратно.

На дебаркадере сделалось тихо. Дождь стучал по доскам. Слепой гармонист, отпущенный милицией за неимением состава, брёл вверх по взвозу и на ходу растягивал мехи, набирая ту же самую мелодию, что играл с восьми утра.

Когда они поравнялись с ним, гармонь смолкла.

Слепой остановился. Постоял, повернул голову не на шаги — шаги шли с другой стороны, и держал её так, пока звук каблуков не ушёл далеко вперёд. Потом сложил гармонь и пошёл, уже не играя.

Слепцов оглянулся на него один раз и решил, что человек просто устал.

Лошадь, запряжённая в пролётку, была старая, рыжая, с провалившейся спиной, и от мокрой шерсти шёл кислый тёплый дух. Кучер Севастьян слез с козел, поклонился с церемонностью, которой его никто не учил и от которой он не отказался при новой власти, и открыл дверцу.

Августина Карловна поставила чемодан и села спиной к лошади, на откидное место.

Слепцов задержался на полшага. По всем правилам, каким его учили в доме на Дворянской и какие пережили тот дом, место по ходу принадлежало ей одной, и сесть напротив означало сесть выше. Он посмотрел на неё, ожидая, что она поправится или скажет что-нибудь необязательное про то, что ей всё равно.

Она не сказала. Она сидела и смотрела на них двоих сразу, и Слепцов понял, что это и было выбрано.

Потехин сел первым и занял места столько, что Слепцову пришлось держаться за поручень, чтобы не съезжать на поворотах. Место начальник губернского ГПУ занял по устройству своему, а не по умыслу, и это было хуже умысла.

Севастьян щёлкнул вожжами. Лошадь не пошла.

Он щёлкнул ещё раз, потом тронул кнутом. Лошадь переступила боком, мотнула головой и попятилась на полшага, и в глазу у неё стояло то мутное белое, какое бывает у скотины перед грозой.

— Балует, — сказал Севастьян не оборачиваясь. — К погоде.

Он слез, взял её под уздцы, провёл десяток шагов рукой, и только тогда она пошла ровно и покорно, как ходила двадцать лет по одним и тем же улицам.

Дождь остался позади, на реке, а над городом висела только сырость, и она оседала на лице холодной плёнкой.

Августина смотрела на город. Не с восхищением и не с недоумением, а так, как смотрят на принятое хозяйство: что работает, что стоит, чего не хватает.

Элеватор у реки стоял с облупившейся штукатуркой, труба дымила слабо. Собор поднимался над площадью с ободранными куполами: медные листы сняли в двадцать втором, ворота заколотили досками, и на одной из них углем была выведена женская грудь, крупно и без затей. Рисунок держался дольше медных листов.

Вывеска спичечной фабрики «Искра» выцвела до контуров, горожане читали её по памяти.

У распределителя стояла очередь человек в двадцать. Люди сутулились молча, у каждого сумка или мешочек, никто не разговаривал.

На облупленной стене висела афиша драмкружка: пьеса «Овечий источник», начало в семь, главную роль исполняет товарищ Ревякин, билеты у завкома. Билеты у завкома означали, что зал будет полон при любой пьесе.

Взгляд её задержался на очереди дольше, чем на прочем, и двинулся дальше.

— Сколько в губернии населения? — спросила она.

Слепцов ответил, не задумываясь, и в папку не полез.

— Девятьсот тридцать семь тысяч двести человек. По данным на первое января. Из них мужского пола — четыреста сорок одна тысяча триста, женского — четыреста девяносто пять тысяч девятьсот. По уездам: городской — двести тринадцать тысяч семьсот, Заволочный — сто шестьдесят восемь тысяч четыреста, Пустошенский — триста пять тысяч двести и Никольский — двести сорок девять тысяч девятьсот.

Голос у него был ровный, цифры произносил без гордости и без запинки. Гордость он себе позволял только внутри и только на цифрах, которые сходились.

Потехин потемнел лицом.

— По моей линии учёт вернее, — вставил он. — У нас на каждого досье, с карточкой и биографией. Мы знаем, кто где работает, кто с кем спит и кто кому должен.

— Я спросила о численности, — заметила прибывшая. — Не о досье.

Больше она не добавила ничего. Не поблагодарила за точность и не ответила на претензию. Слепцов заметил и это: она не поставила Потехина на место, потому что для этого нужно усилие. Она просто отделила нужное от лишнего и лишнее оставила лежать.

Пролётка вкатывалась на Соборную площадь, когда она спросила снова.

— А на сегодня?

Слепцов открыл рот и не сказал ничего.

Такого с ним не случалось давно. Так давно, что он успел забыть, как это устроено изнутри. Столбцы стояли на месте, все до одного, но они были на первое января, а сегодня было двадцать седьмое апреля. Между двумя датами лежали четыре месяца, в которые рождались, умирали, уезжали и не доезжали, и никто в губернии не считал их подряд, потому что подряд считать не полагалось.

— На сегодня сводки нет, — сказал он. — Статотдел даёт полугодиями.

— Понятно, — сказала она.

И ничего не прибавила, а Слепцов ещё квартал ехал и перебирал в голове, что именно ей стало понятно.

— Много пустых дворов? — спросила она затем.

— В городе мало. За Гнилым оврагом, в слободах, стоят целыми улицами. В Заволочном уезде третий год не сеют.

— Совсем не сеют?

— Сеют мало. Продналог — тридцать пять процентов от урожая, а урожая нет.

Он выговорил это ровно, как выговаривал всё.

— Дворы там не сожжённые и не разорённые. Именно пустые: двери прикрыты, ставни целы. Войти легче, чем в жилой.

Она повернула голову и посмотрела на него внимательнее, чем смотрела до сих пор.

— Это вы хорошо сказали, — произнесла она.

Слепцов не понял, что в этом было хорошего, и остаток дороги не понимал тоже.

Больше она не спрашивала. Проехали слободы: низкие избы с кривыми крышами, дворы без собак и без кур, только коза на колу посреди пустыря, на котором больше ничего не было. Козу, судя по всему, не съели по недосмотру.

В конце концов пролётка въехала на площадь и свернула на тихую улицу с одноэтажными особняками дореволюционной постройки. Большинство стояли заброшенными: окна забиты, ворота на замке и на крышах вороны гнёзда.

Третий от угла выглядел жилым. Низкие окна, кафельные печи, видные сквозь венецианское стекло столовой. Печи не топились, но были исправны. Во дворе держался сад с прошлогодней сиренью, и сухие соцветия шуршали на ветках, не опав за всю зиму.

Голенищевский особняк. Бывший дом председателя земской управы, теперь резиденция ответственного секретаря губкома.

Пролётка встала у крыльца. Потехин выскочил первым, сапоги стукнули по каменным ступеням, и звук раскатился по пустому двору, обогнав хозяина.

— Позвольте, я проведу вас внутрь, — сказал он, берясь за дверную ручку. — Печи, может, и не протоплены, но я распорядился, чтобы дров привезли с утра. И воды. И постельного. Всё по списку.

Она стояла на ступеньке, чемодан в одной руке, несессер в другой. Посмотрела на него прямо, без улыбки и без благодарности.

— Спасибо. Я сама.

Слепцов не услышал в этих словах ни усталости с дороги, ни «может быть, завтра», ни единой смягчающей оговорки, которыми обкладывают отказ, чтобы он не звучал отказом. Она обошлась без них так, будто и не знала, что они существуют.

Потехин замер. Рука так и осталась на ручке двери, будто он забыл, зачем её туда положил.

Слепцов шагнул к ней и достал из папки ключ на суровой нитке с бумажным ярлыком. Нитка была шершавая и пахла клеем.

— Ваш, Августина Карловна. От парадного. Второй у прислуги. Тут открыто, Фёкла Игнатьевна с утра там, дожидается вас. Кухарка и по дому. Служит при этом доме двадцать шесть лет, пережила земскую управу, продовольственный комитет и два уплотнения. За все годы ни о ком ничего не спросила.

— Хорошо, — сказала приезжая и убрала ключ в несессер, не посмотрев на ярлык.

Потом остановилась, уже повернувшись к двери.

— Николай Афанасьевич. Завтра к девяти мне нужны списки по волостям.

— Сводки статотдел подаёт по уездам, — сказал Слепцов. — По волостям — только численность.

— Мне нужна не численность. Мне нужны списки. С именами.

— По волостям именных списков не ведут.

— Значит, заведут, — сказала она. — Начните с Заволочного.

Слепцов записал бы это, будь у него такая привычка. Вместо того он убрал сказанное туда же, где стояли столбцы, и отметил, что оно легло неровно и никуда не встало.

— Будет исполнено, — сказал он.

Сошёл на нижнюю ступеньку, папка под мышкой.

— До свидания.

И протянул руку, не потому что собирался, а потому что этому его тоже когда-то выучили.

Она пожала её в перчатке, коротким движением, ровно столько, сколько требовал обычай.

Рука дёрнулась назад раньше, чем Слепцов успел это решить. Пальцы сжались в кулак, тело подобралось всё разом, и он остался стоять с чужим движением, которого не собирался делать.

Ознобом потянуло не от перчатки. Перчатка была тёплая, нагретая её ладонью, обыкновенная. Холод шёл откуда-то из-под неё, снизу, коротким толчком, и уже отпустил, а ладонь всё ещё помнила.

Августина Карловна не обернулась. Она толкнула незапертую дверь и вошла в дом, и в глубине передней шевельнулась тёмная фигура, ожидавшая гостью с рассвета.

Дверь закрылась с тихим щелчком.

Слепцов не двинулся с места и тёр ладонь о бедро. Тёр сильно и упорно, словно пытался свести с кожи то, чего на ней не было. Лицо при этом ничего не выражало, и объяснить этого он не мог. Он привык, чтобы всё сходилось, а тут за один день не сошлось дважды: цифра на сегодня и одно рукопожатие.

Потехин этого не видел. Он стоял спиной и смотрел на закрытую дверь так пристально, словно рассчитывал разглядеть сквозь дерево, что делает в нетопленном доме женщина в английском пальто с одним чемоданом.

Он не отвёл глаз, когда Севастьян взобрался на козлы, и не отвёл, когда Слепцов сел в пролётку и стал ждать. Не отвёл и когда по крыше экипажа снова застучал дождь, мелкий и частый, как рассыпанное пшено.

За все годы службы он выучил: кто входит в дом один, тот рано или поздно из него выходит.

До этой минуты правило работало.

## Глава 2. Дом предшественника

Дом встретил Августину холодом. Не тем весенним холодом пустых комнат, который уходит через час после растопки. Этот засел в углах основательно, обжился и устроился тут на правах постоянного жильца. Августина отметила это и запомнила. Обстоятельства она предпочитала знать заранее.

Запах держался тяжёлый: старая древесина, пыль и подпольный тлен. Ни противно, ни приятно, просто состав воздуха, в котором предстояло жить. Она поставила чемодан у стены, повесила пальто на единственный свободный крючок и прошла вперёд, не снимая перчаток.

Свободным был один крючок из шести. Пять остальных занимали чужие вещи, которые никто не потрудился убрать, и это сообщало о прежнем хозяине больше, чем справка из губ-отдела.

Из кухни вышла женщина в тёмном платке, широколистая, с руками, сложенными на переднике. Она не поздоровалась и не назвалась, будто называть себя в этом доме давно перестали.

Феклуша выждала, пока прихожая перестанет занимать новую хозяйку, и двинулась следом, держась на полшага позади. Дистанция была выверена годами и, судя по её точности, не при одной хозяйке. От передника её тянуло печной золой и лежалым салом.

Гостиная открывалась венецианским окном — три арки под полукруглой перемычкой. Зелёные шторы, потемневшие до черноты, были раздвинуты, и дневной свет ложился на паркет узкими полосами. Паркет рассохся, особенно у порога, где доски разошлись на палец и отзывались под каблуком сухим щелчком.

Кафельная печь в углу источала холод. Белые изразцы с синей каймой блестели тускло, и по тому, как ровно лежала на них пыль, было видно, что печь не топили давно и топить не собирались.

Над диваном светлел прямоугольник, обведённый тёмной каймой — след картины или портрета от прежних хозяев. Августина провела по стене пальцем в перчатке, стряхнула серый налёт с лайки одним движением и пошла дальше. Что висело здесь в раме, значения не имело. Важно было другое: снимали торопливо, а переклеить обои не успели.

Кабинет был меньше и темнее. Письменный стол под зелёным сукном занимал середину, и справа от центра темнело чернильное пятно, размазанное и неровное. Пролили и не вытерли.

Секретарь губкома села в кожаное кресло, затёртое на сиденье до блеска, и положила руки на стол так, что правая легла точно поверх пятна. Поза была чужая, но удобная. Сидел здесь человек грузный, писал правой рукой, курил над бумагами и не берёг ни сукна, ни того, что на нём лежало.

Она наклонилась. Между половицами у ножки стола обнаружилась щель, узкая, но достаточная. Двумя пальцами Августина вынула оттуда янтарный мундштук, старый и отполированный до матовости, с обломанным кольцом, повертела его на свету и положила на сукно рядом с пятном.

С помощью такой вещи курят лет пятнадцать и лезут за ней хоть под стол. Видимо, хозяину лезть было некогда.

— Куда делся Голенищев? — спросила она, не поднимая глаз от сукна.

Кухарка стояла у двери и молчала дольше, чем молчат, подбирая слово.

— Уехали, — произнесла наконец неохотно.

Августина ждала. Тишина в комнате густела, и она не мешала. За стеной что-то капало в жестяное ведро, отсчитывая паузу вместо неё.

— По делам службы, — добавила Феклуша, сообразив, что новая жиличка ждёт продолжения. — Не наше дело.

Женщина повернула лицо к окну, и по тому, как оно застыло, стало ясно: справок здесь не выдают. Августина кивнула коротко и поднялась. Сказанное её устроило вполне. Кресло скрипнуло под ней сухо и резко, и скрип этот повис в комнате вместо ответа.

Половину спальни занимала железная кровать с никелированными шариками на спинках. Постель была застелена небрежно, одеяло сбилося к изголовью, будто хозяин встал и вышел на минуту. От подушки тянуло чужой помадой для волос и остывшим табаком.

Ладонь в перчатке легла на простыню. Сквозь лайку холст ощущался ровным и холодным, без той сырости, какая остаётся в белье, где спали. Она наклонилась, прошла пальцем вдоль плинтуса, и у изголовья кровати перчатка нащупала металл — шпилька для волос, загнанная в щель между доской и стеной.

Гостя оставила её на месте и придавила ногтем поглубже. Найти шпильку можно будет повторно, при свидетелях и в удобный момент.

Смежная дверь вела в уборную. Унитаз с деревянным сиденьем стоял в углу, рядом ведро с водой, наливаемое заранее и, судя по всему, регулярно. Кран над раковиной приезжая повернула дважды и убрала руку. Водопровод в доме имелся, воды в нём не было. Из трубы потянуло ржавчиной и сыростью подпола.

Больше всего света доставалось столовой. Овальный стол на восемь персон стоял посередине под чистой, но не глаженной скатертью с заломами вдоль сгибов. Восемь персон на одного жильца. Скатерть пахла крахмалом и залежавшимся бельём.

Часы на стене были маятниковые, с латунным циферблатом. Бой отмечал каждый час, и заводили механизм по вторникам. Спрашивать, кто заводит, не имело смысла: в доме, где всё стояло, шли одни часы, и шли они не сами.

Лепной карниз тянулся по периметру комнаты: гроздь, листья и завитки. Над дверью в кухню одна гроздь была отбита и заштукатурена заново, грубо, без попытки повторить рисунок. Штукатур бы так не сделал. Тут работал тот, кому велели убрать, и он убрал. Лепнину по губернии сбивали пятый год и всегда одинаково небрежно.

За окном стоял сад: шесть яблонь в полном цвету, белых от вершины до нижних ветвей, две сливы с тёмными стволами и куст сирени у забора, ещё не раскрывшийся, в тугих зелёных бутонах. В глубине сада каретник переделали под дровяной сарай, и под навесом лежали ровно сложенные поленья.

Хозяин запаса дровами на зиму и зимой не воспользовался. Запас переходил к ней вместе с домом, должностью и всем прочим, что осталось от Голенищева.

За кухней помещался чулан без окон. На полках лежали подшивки «Правды» за двадцать второй год, перевязанные бечёвкой и покрытые ровным слоем пыли. Приезжая провела рукой по корешкам, пыль поднялась, закружилась в свете открытой двери и осела почти туда же, откуда встала.

Год был подшит целиком, без единого пропуска. Голенищев либо очень любил порядок, либо готовился однажды доказывать, что читал их вовремя. Бечёвка на подшивках была затянута туго, узел в узел, и под пальцами не поддавалась.

Августина обошла дом целиком, комнату за комнатой, и всюду делала одно и то же: трогала, открывала и выдвигала ящики. Это была опись. Любознательность предполагает интерес к ответу, ей же требовался перечень.

В прихожей внимание её привлёк телефон: дубовый ящик на стене, медная табличка с номером четырнадцать. Августина сняла трубку, поднесла к уху и услышала тишину того особого качества, какое бывает у аппаратов, отключённых со стороны станции. Номер четырнадцать полагался в губернии по должности, а должность у неё была.

— Свет дают с семи, — сказала Феклуша, впервые заговорив без вопроса. — До полуночи. Потом свечи. В кабинете лампа керосиновая, с зелёным абажуром.

Августина кивнула. Кухарка выдала сведения сама, и за всё время в доме это были единственные её слова, которых никто не спрашивал.

Гостя вернулась в кабинет, села за стол и положила руки на сукно: правую — на чернильное пятно, левую — рядом с мундштуком. Перед ней на стене светлел прямоугольник с тёмной каймой, и смотреть в комнате было больше не на что.

Опись была окончена. Дом стоял вокруг неё со своими щелями, пятнами, шпильками, отбитой лепниной и ждал распоряжений. Их пока не было. Голод она внесла в перечень последним пунктом, ниже водопровода и дров, и оставила ждать своей очереди.

Пантелей Кузьмич Тюрин, председатель губисполкома, явился без предупреждения во второй половине дня, когда солнце ушло за крыши и свет прорезал гостиную наискось. В руках он держал плетёную корзину такого размера, что со стороны было неясно, кто кого несёт по коридору.

Феклуша впустила его молча, показала на гостиную и вернулась к плите. Вопросов она не задавала ни ему, ни о нём.

Председатель шёл по коридору, отдуваясь. Крыльцо далось ему с трудом, и отдышку он донёс до гостиной в полной сохранности. Картуз он снял и поклонился коротко, степенно, как кланяются должности, а не человеку.

— Пантелей Кузьмич Тюрин, председатель губисполкома, — представился он, хотя фамилия его стояла в списке, который Августина прочла ещё на пароходе. — С приездом вас, Августина Карловна. Разрешите поздравить.

Корзину он поставил у своих ног, а не на стол. Пришёл не сослуживец, пришёл проситель.

В корзине лежал окорок в промасленной бумаге, банка мёда под восковой заливкой и две бутылки, завёрнутые в губернские «Известия» за прошлую неделю. От бумаги, на которой печатали решения губкома, тянуло типографской краской и сивухой разом.

Хозяйка дома сидела напротив, прямая, в перчатках, и кивнула один раз.

Тюрин опустил в кресло. Кожа под ним осела и отозвалась долгим скрипом. Он расстегнул пиджак, надетый поверх косоворотки, — компромисс между старым порядком и новым, который сам он считал находкой, — и сложил руки на животе.

— Дорога по Волге в этом году тяжёлая, — начал он. — Разлив, понимаете. Вода высокая, и течение сильное. «Володарский» всегда опаздывает, это у него в характере. А у нас тут люди простые, Августина Карловна, мы к этому привыкли.

Он выждал ответа. За стеной Феклуша скребла сковороду, и скрежет этот заполнил всю паузу целиком.

Августина смотрела на гостя так же, как перед тем смотрела на янтарный мундштук: без оценки, отмечая свойства: мягкие руки, не знавшие ничего, тяжелее чернильницы, и круглое лицо. Привычка кивать в такт собственным словам, будто соглашаться приходилось прежде всего с собой.

— Дорога от пристани до города тоже не ахти, — продолжал председатель. — Грязь по колено, мостки местами провалились. Но мы тут люди простые, справимся.

Про простых людей он сказал дважды. Пришёл присмотреться и заранее сдаться, и от него несло дорожной пылью и дешёвым одеколоном, которым мажут перед начальством.

Лицо у него было доброе и согласное, отполированное до блеска двадцатью годами службы при трёх властях подряд. Возразить вслух ему за эти двадцать лет не случилось ни разу, оттого и уцелел.

Слушала Августина его так же, как перед тем осматривала дом, без вежливости и без нетерпения.

Учитывать приходилось и собственное состояние. Она голодала вторые сутки, и с пристани в ней не осталось ничего, кроме остатка прежнего кормления. Кормили её давно и, судя по итогу, недостаточно.

Голод проступал наружу помимо её воли. Черты лица заострились, симметрия из приятной сделалась настойчивой, и кожа под перчатками остыла до температуры комнаты.

Движения, и без того точные, приобрели ту сухую отчётливость, какая бывает у инструмента, которым долго работали без смазки. Августина сидела прямо, не касаясь спинки кресла, и поза её не менялась вовсе. В горле стояла сухость, и глотать было нечего.

Тюрин говорил о разливе, о дорогах и о простых людях, и голос его звучал ровно, по давно накатанному, не требуя от говорящего участия. Ему довольно было слушателя. Августина считала другое.

Она поднялась. Ни предупреждения, ни перемены в лице при этом не случилось, и жеста, который потом можно было бы назвать соблазняющим, тоже. Просто встала и подошла, не медленно и не быстро, как подходят к столу за нужным предметом.

И опустилась перед ним на колени, не снимая перчаток. Половица холодила сквозь юбку.

Тюрин замер на полуслове. Рот у него остался открытым, и оттуда не вышло ни вопроса, ни единого звука. Он сидел, широко расставив ноги из-за живота, и смотрел вниз так, как смотрят на награду, выданную не по заслугам и не по ведомости.

Брюки его она расстегнула сама. Пуговица шла туго. Но пальцы в лайке двигались уверенно, без суеты и без интереса, как на давно освоенной работе.

Помощи от него не последовало. Руки лежали на подлокотниках, ладони взмокли и липли к тёплому дереву, и пальцы подрагивали от того, что сидит в человеке глубже всякой мысли и переживает должность, убеждения и биографию.

— Августина Карловна... — выговорил он, и фраза оборвалась на середине, обратившись в невнятный звук.

Она взяла его в рот. Взяла так, как берут пробу: отмечая вкус, плотность и годность к употреблению. Проба вышла средняя, с привкусом табака и мятного зубного порошка.

Тюрин запрокинул голову, упёршись затылком в спинку кресла, и закрыл глаза. Всё, что в нём было — председатель губисполкома и мягкорукий чиновник, приученный сдаваться первым, — растворилось без остатка. Под перчатками осталось одно тело.

Августина работала методично. Она знала меру: ровно на одно кормление, ни глотком больше. Лишнее с первого раза замечают. Под пальцами частил чужой пульс, торопливый и мелкий.

Театральности в ней не было никакой, всё выверено до мелочи. Гость между тем уходил всё глубже в состояние, которому на человеческом языке названия не нашлось. Он переставал быть кем бы то ни было и делался просто теплом, просто жизнью, которую из него вынимали ровно и аккуратно, как лист за листом из подшивки.

Разрядка настигла его волной, прошедшей насквозь и вышедшей наружу долгим сдавленным стоном. Августина приняла тепло и почувствовала, как оно идёт по горлу сверху вниз, густое и живое.

Тело получило наконец то, чего ждало вторые сутки. Удовольствия в этом не было никакого. Это было топливо.

Мир вокруг между тем занимался своими делами. Через открытую дверь виднелся кабинет с зелёным сукном стола, на котором лежал янтарный мундштук покойного бывшего хозяина дома. Если он был покойным.

Свет из венецианского окна лежал на паркете тремя ровными полосами и падал на Августину без теней, ровно и учётно, как падает на стол под ведомостью.

За стеной в столовой шли часы, единственный механизм в доме, исполняющий обязанности исправно. Корзина лежала опрокинутой: гость задел её ногой и не заметил. Окорок в промасленной бумаге выкатился на паркет и остановился у ножки кресла, ближе к делу, чем предполагал даритель.

Августина поднялась и одёрнула юбку одним движением, быстрым и деловым. Ни удовлетворения, ни отвращения лицо её не выражало, усталости тоже. Оно осталось холодным и ровным, и это было правильно: выражать было нечего.

Тюрин же переменился. Морщины разгладились, глаза заблестели, щёки порозовели, кожа подтянулась и дряблость ушла. Одышка, которую он донёс до гостиной с крыльца, исчезла бесследно.

Он дышал глубоко и ровно, как дышат после долгого здорового сна. Помолодел лет на двадцать, и не в переносном смысле. Августина посмотрела на результат и осталась им довольна умеренно. Взято было немного, а вернулось видимостью здоровья на несколько недель. Проценты по такому займу платят позже и не деньгами.

— Спасибо, — сказал он.

В этом «спасибо» слышалось лишнее. Так благодарят за чудо, природы которого не понимают и понимать не хотят.

Августина кивнула. «Пожалуйста» она не сказала. Кивают так, приняв доклад к сведению.

Уходить он собрался не сразу. Брюки застёгивал дрожащими пальцами, поправлял пиджак и надевал картуз, и всё это делал медленно, будто заново осваивал собственное тело и находил его в неожиданно хорошем состоянии.

Корзину гость взял пустую. Окорок, мёд и бутылки остались лежать на полу гостиной, и вернуть их ему никто не предложил. Промасленная бумага уже пропитала паркет жирным пятном.

На крыльце он остановился с пустой корзиной в руках и посмотрел на Малую Дворянскую, на яблони в цвету за забором и на низкое апрельское небо.

Стоял он так долго, что Феклуша, выглянувшая из кухонного окна, решила: гость забыл в доме вещь и не может припомнить какую.

Забыть он ничего не забыл. Он оставил окорок, мёд, две бутылки и часть себя, о которой не подозревал, а унёс пустую корзину, лёгкое дыхание и ощущение подаренных двадцати лет. Ивовые прутья скрипнули у него под пальцами, когда он перехватил ручку корзины поудобнее.

Ночь пришла в город тихо и без событий. Сторожить здесь было нечего.

Августина вышла в сад через кухонную дверь и остановилась на каменной плитке у крыльца. Холод земли чувствовался через подошвы. Воздух пах землёй, яблоневым цветом и дымом: за Гнилым оврагом топили печь, дым стелился низко, цепляясь за слободские крыши.

Оттуда же доносилась гармонь. Одна и та же мелодия повторялась раз за разом, обрываясь и начинаясь снова. Гармонист играл для себя, и во всей губернии, похоже, только он был занят делом по собственному желанию.

Где-то отрывисто лаяла собака, без злости, от скуки. С реки пришёл пароходный гудок и растёкся над садом дольше, чем ожидалось: в этих местах звук любит воду. Река шла своим порядком, не сверяясь с тем, что делается на берегу.

Яблони в темноте потеряли чёткость и выглядели белыми пятнами, размытыми тенью, будто через сад развесили простыни и забыли снять. Сирень у забора стояла недвижно, в тугих тёмных бутонах, будто раскрываться не собиралась.

Секретарь губкома прошла до каретника и обратно. Шаги её на утрамбованной земле не давали звука, и только редкий хруст камешка под подошвой обозначал, что по саду кто-то ходит.

Голод её не прошёл. От Тюрин она взяла мало, едва хватит на сутки. Пожилой чиновник с мягкими руками и одышкой не годился для источника, на который рассчитывают долго.

Расчёт она провела сразу, стоя между яблонями. Сколько таких, как Тюрин, нужно в неделю? Трое. Четверо, если с запасом. Сколько их в городе? Чиновников подобного веса человек пятнадцать. Сколько придёт добровольно? Один или двое. Остальных придётся вызывать.

Вызывать было можно, но неудобно. Такие, как Тюрин, приходят с корзиной и поклоном один раз в жизни. Второй визит выглядит иначе: с вопросами, с осторожностью и с тем страхом, который рождается от чересчур точного знания.

На улице брать нельзя. Секретаря губкома узнают в лицо, она видела, как смотрели на неё на дебаркадере и как провожали взглядом пролётку. Исчезновения на виду ей негодились ни в каком количестве.

Требовался канал: постоянный, объяснимый и оформленный официально бумагой. Устройство, которое работает без её участия, как водопроводный кран, только исправный. В доме кран был неисправен, и это она уже проверила.

Августина подняла руку к лицу и остановила её на полпути. Трогать не имело смысла: она знала, что нащупает. Лайка перчаток не пропускает тепла, а тепла под ней и не было.

Голод выходил наружу самовольно. Скулы выглядели резче, чем следует, губы истончились и глаза набирали ту ртутную яркость, которую при свете не скроешь и ничем не объяснишь.

Дело было в заметности. Заметность мешала работе. Даже Феклуша, положившая себе за правило не замечать в этом доме ничего, могла заметить это.

Хозяйка вернулась в дом. Кухня встретила её запахом кофе с цикорием, горьким и едким. Феклуша стояла у плиты спиной к двери и помешивала в кастрюле, а на столе уже ждала фаянсовая чашка с синим ободком.

Кухарка не обернулась. Она сдвинула кастрюлю на край плиты, взяла полотенце и, не поворачиваясь, сказала:

— Кушайте, Аристарх Петрович.

В кухне сделалось тихо. Кастрюля шипела, выкипая, но звук её доносился будто из другой комнаты и другого вечера.

Феклуша повернулась медленно, как поворачиваются к тому, что уже случилось. Лицо её побелело до бумажного оттенка, и на этом белом глаза стояли чёрные, слишком чёрные, будто их нанесли поверх кожи тушью.

— Простите, — сказала она.

Голос был тихий и ровный, без единой дрожи. Дрожат от испуга. Так, ровно и коротко, извиняются те, кто извинялся в этом доме и раньше.

Августина смотрела на неё без выражения. Ни удивления, ни гнева с интересом: так же она смотрела на янтарный мундштук и на чернильное пятно, и в один ряд с ними легло теперь имя.

Аристарх Петрович Голенищев. Хозяйка дома получила его даром, за кухонным столом, от женщины, которая днём отвечала, что прежний хозяин уехали по делам службы. Уточнять она не стала.

Чашка была ещё горячая, и через лайку это чувствовалось глухо. Кофе оказался горьким, переваренным, с отчётливым вкусом цикория: вкус, который предпочитал предшественник и который здесь варили по привычке, как заводили часы по вторникам.

Феклуша постояла неподвижно и вышла, не сказав больше ничего. Не побежала и не шмыгнула, а вышла ровным шагом, каким выходят, поняв, что говорить дальше опаснее, чем молчать. Дверь её комнаты закрылась с тихим щелчком.

Августина допила до дна и поставила пустую чашку на стол.

В кабинете она села за стол и открыла несессер. Из него легли на зелёное сукно две потрёпанные тетради в коленкоре, коричневые, с потёртыми углами и пожелтевшими страницами. Журналы Гильбиха.

Она переворачивала страницы, и под её пальцами они ровно и сухо шелестели: даты, цифры, схемы, латынь попеременно с русскими пояснениями, имена больных, диагнозы и

результаты анализов. Записи Гильбих вёл для себя, а не для отчёта, и потому подробнее, чем требовалось кому бы то ни было.

Нужное место нашлось сразу: она помнила, на какой странице. 12 ноября 1913 года. Несколько строк, латинские термины, цифры и фамилия в конце: Ланской, прозектор Мариинской больницы.

Именно эти строки привели её в губернию. Не мандат, не назначение и не решение ЦК от 12 апреля. Бумаги объясняли, каким образом она сюда прибыла, и не объясняли зачем, а на такой вопрос в аппарате отвечать не принято.

Тетрадь легла на сукно рядом с чернильным пятном. Коричневый коленкор и чёрное пятно лежали ровно, как две части описи, составленной разными людьми и в разные годы.

Августина смотрела на фамилию в конце. Прозектор. Единственный человек в городе, который знает правду. Или знал когда-то и предпочёл забыть, что в его возрасте и при его должности означает почти одно и то же.

Часы в столовой отбили полночь. Двенадцать ударов прошли медленно и тяжело, и после последнего в доме воцарилась та особая тишина, которая ложится между одним днём и другим.

И свет погас. Феклуша предупреждала об этом ещё днём, и предупреждение, единственное за весь день, оказалось точным.

На зелёном сукне осталась узкая полоса лунного света, перерезавшая пополам и пятно, и коричневую обложку.

Августина сидела не двигаясь, положив правую руку на пятно, а левую на тетрадь. Место было занято, и освободить его она не собиралась.

За окном стояли яблони, гармонь в слободе доигрывала свою мелодию в который раз, и на реке пароход дал гудок, уходя вниз по течению.

В городе спал человек по фамилии Ланской и не знал, что его уже внесли в перечень.

### Глава 3. Заседание, которое треснуло

Зал заседаний губкома при прежней власти был бальным залом Дворянского собрания и помнил лучшие времена.

Метлахская плитка в вестибюле лежала шахматкой, и в ней недоставало нескольких квадратов. Дыры забили цементом, который не высох до конца и держал запах сырости третий год.

Мраморную лестницу отполировали подошвами до блеска. Ковёр сняли в восемнадцатом, и с тех пор его судьба была неизвестна. На площадке между пролётами стоял гипсовый бюст, которого никто в здании не мог назвать по имени, и большая керосиновая лампа, оставшаяся от дворян. Лампу не зажигали ни разу. По описи она проходила как исправная, но так ли это, было неизвестно.

Лепной лавровый венок на потолке сохранился целиком и висел теперь над президиумом, напоминая о победах, которых уже никто не помнил.

В люстре под венком горели две лампочки. Патроны остальных пустовали с зимы, и по ведомости на освещение губком числился учреждением обеспеченным.

Красное хлопчатобумажное полотно на столе президиума было новое, купленное специально для собраний, и выцвести ещё не успело, в отличие от полотна над крыльцом, вывешенного осенью и выцветшего до розового за одну зиму.

Зеркала в нишах между окнами заколотили фанерой. Одно разбили на праздничном вечере в девятнадцатом, второе уцелело, но заколотили и его — для единообразия. Сквозь щели между досками пробивался свет и ложился на паркет узкими полосами.

Пахло махоркой, въевшейся в шторы ещё при земстве, сургучом, мокрым сукном и бумажной пылью.

Заседание бюро губкома открылось минутой молчания.

Минутой молчания в этой губернии открывалось всё: доклад о посевной, вручение грамот и спор о дровах. Норму эту отработали до последнего движения, и стояли здесь ровно и одинаково по любому поводу.

Тюрин уложил сообщение про убийство в двенадцать слов и произнёс их голосом, каким читают сводку по углю.

— Уполномоченный Кутько убит вилами третьего мая в Гнилицах при описи хлеба. Убийца задержан. Похоронили вчера.

Хоронили уполномоченного с оркестром. Оркестр в губернии был один, пожарный, и играл он на всех похоронах одно и то же, поскольку разучивать второе не имело хозяйственного смысла.

Зал поднялся. Стулья отозвались вразнобой: венские скрипели разохшимся за зиму деревом, кухонные табуреты скребли по полу ножками, и задние ряды вставали осторожно, стараясь не двигать мебель.

Августина поднялась следом за соседом слева и сняла с него позу, как снимают выкройку: плечи расправлены, подбородок опущен и руки сложены перед собой. Приём был отработан ещё в Москве. Локоть соседа задевал её рукав на каждом вдохе, и сукно тёрлось о сукно с сухим шорохом.

Перо она держала над раскрытым реестром, наклонив голову. Взгляд шёл по лицам, как по табельной ведомости: возраст, годность, семейное положение и вероятная норма.

Гнездилов в первом ряду вертел карандаш в пальцах, испачканных типографской краской, и черкал в тетради. Ястребицкий стоял зажмурившись, и пенсне сползало у него к самому кончику носа. Ланского в зале не было: прозектору полагалось отдельное учреждение, и морт в повестку не входил.

Зачем тратить минуту на того, кого уже нельзя использовать?

Вопрос был рабочий и требовал ответа в тот же день. Мёртвый не подписывает бумаг и не голосует, тепла от него тоже нет. Минута молчаливого стояния над его отсутствием не производила ничего, кроме затрат.

Наблюдение легло в ту часть сознания Августины, где хранились прочие неэффективности губернского аппарата. Раздел был просторный и пополнялся ежедневно.

Тюрин стоял с прежней одутловатой солидностью, но в нём переменялось что-то существенное. Кожа держалась плотнее, мешки под глазами опали, и пальцы на сукне не дрожали. Разницу она отметила без удовольствия, как отмечают, что настой дошёл до нужной крепости.

Питание сказывалось.

Минута молчания закончилась. Председатель губисполкома сел первым, положил руки на стол и перешёл к повестке тем же голосом: посевная, продналог, баня, дрова и утверждение товарища Бекеша вместо Кутько. Между вилами и дровами не оказалось ни паузы, ни перехода.

Здесь принято постоять молча над мёртвым и сразу заговорить о дровах. Августина занесла правило в реестр здешних порядков под номером сорок семь.

Прения не открывались. Тюрин читал пункт, секретарь записывал, Гнездилов кивал, а Ястребицкий подписывал не глядя. Бумага шла по кругу от края стола к краю, и углы её к третьему пункту засалились под пальцами.

— Товарищ Гильбих, — Тюрин смотрел мимо неё, в точку над правым плечом, и голос его был официален до полной гладкости, будто происшествия в её гостиной не случалось вовсе. — Ваше мнение по третьему пункту?

Августина ответила двумя фразами, не поднимая пера.

Председатель согласно кивнул и перешёл дальше, не пытаясь развить тему. Позавчера он ещё пробовал возражать по мелочам. Сегодня возражать было нечем: то, чем возражают, осталось лежать в её гостиной, рядом с пустой корзиной.

Слепцов докладывал по городскому хозяйству.

Он поднялся, поправил накрахмаленный воротник и заговорил без бумаги, перечисляя цифры с лёгкостью, с какой другие перечисляют дни недели. Три километра водопровода. Двести сорок семь уличных фонарей, из них горят сто двенадцать, остальные исправно числятся. Норма дров на зиму полтора куба на душу, завезено восемь десятых.

Баню на Соборной довели до шестидесяти процентов готовности, дальше не хватило кирпича и кровельного железа. Кирпич, отпущенный на неё в позапрошлом году, обнаружился летом в кладке двух частных домов в слободе. Вопрос находился в стадии уточнения и в доклад не входил.

Речь у секретаря горкома была заучено-правильная: ни уменьшительных суффиксов, ни местного говора, ни мягкого произношения, по которому узнают человека, выросшего в людской. Правильному языку он научился по циркулярам, а не у матери.

Руки этому не соответствовали. Широкие и тяжёлые, с вьёвшейся в складки на суставах чернотой, они лежали на краю стола, и ногти были срезаны коротко, под самое мясо.

Августина примерила его к своей природе между делом, посреди доклада, как примеряют перчатку.

Не подошёл.

Инструмент не взялся: слишком собранный и твёрдый, слишком внимательный к собственным краям. Такого с ней не случалось ни разу за восемь лет, но досады она не испытала, потому что досада предполагает ожидание. Она закрыла папку и перевела взгляд дальше по ряду.

Потехин сидел у окна, откинувшись на спинку и сложив руки на животе. Хромовые сапоги он вытянул в проход, и голенища поскрипывали при каждом движении ноги, оповещая

зал о присутствии начальника губотдела. Вид у него был расслабленный, почти сонный, а глаза обходили зал по кругу, проверяя, всё ли на месте.

Этот подходил.

Достаточно тщеславный, чтобы уступить, и влиятельный настолько, что уступки имели вес. Августина задержала на нём взгляд дольше, чем требовала вежливость, и вернулась к реестру. Потехин это заметил и принял на свой счёт, как принимал всё.

Из коридора доносился стук «Ундервуда», ровный и непрерывный. Машинка работала день за днём без остановок и заполняла бланки исправнее любого из живых участников заседания. Августина слушала её с одобрением. Каретка доходила до края, щёлкала и шла обратно, отбивая счёт ровнее пожарного оркестра.

Она записала последнюю цифру, сообщённую Слепцовым, поставила точку и отложила перо.

Заседание шло своим чередом. Бумага ходила по рукам. Люди говорили, и ничто из сказанного не требовало её участия. Она сидела, заносила сведения в графы, раскладывала по разделам и ждала, пока один из присутствующих не понадобится ей больше, чем она ему.

Пока таким был только Потехин. Остальные могли подождать.

Заседание объявили закрытым, но зал не разошёлся сразу. Это повторялось на каждом совещании и никого не удивляло.

Августина шла к дверям сквозь тепло полусотни живых людей, стоявших группами и договаривавших своё. Тепла в зале хватало, но брать его было пока нельзя.

Присутствующие собирали папки не торопясь, перекладывали бумаги и застёгивали портфели. Уходить первым считалось дурным тоном: это означало, что у человека есть дела важнее общего собрания.

У противоположного окна курили, выпуская дым в щель между рамами. В коридоре курить не разрешалось, поэтому курили в зале. Махорочный дым густел под потолком и медленно опускался на сдвинутые стулья.

Августина собрала бумаги первой. Она уложила реестр в портфель, застегнула обе кнопки и вышла, не прощаясь.

Второй этаж губкома был тише первого. Кабинеты стояли поодаль друг от друга, звук шагов по паркету уходил далеко, словно они звучали с задержкой. Окна глядели во двор — узкий, вымощенный камнем, с яблонями вдоль забора и мокрыми досками, брошенными у сарая после весеннего ремонта.

У третьего окна её догнала Кораблёва, завженотделом исполкома. Она шла ровно и быстро, не сутулясь. В этой походке читалась бывшая ткачиха, привыкшая проходить между станками, не задевая ни одного.

— Августина Карловна, извините, — Кораблёва перехватила папку в левую руку, и голос её был твёрдым, без подбострастной ноты, которая обычно звучала в обращениях к новому секретарю. — По вопросу делегатских курсов. У меня цифры, но нужна ваша резолюция.

Августина остановилась и повернулась ровно настолько, чтобы видеть собеседницу.

— Говорите.

— Фабричные организованнее, это факт. На «Искре» двести сорок семь женщин по списку, фактически работают сто восемьдесят. Две смены и шестидневка, свободного времени почти нет. Но им проще объяснить, зачем это нужно. Совслужащие — другое дело. Времени больше, график гибче, а мыслят категориями старого быта. Приходят на курсы, слушают про новую мораль и кивают, а дома варят борщ и штопают носки мужьям.

Августина уточняла тем же ровным голосом, каким спрашивала бы про койки в больнице или про тоннаж угля на складе. Сколько женщин на «Искре» по списку и сколько выходит. Сколько в совучреждениях. Есть ли при фабрике столовая. Чем кормят. Есть ли ясли и кто смотрит за детьми, пока матери на смене.

Каждая цифра проверялась на пригодность. Лозунги, которые Кораблёва готова была произнести с первого слова, ей не понадобились: их никто не спрашивал.

И пока шли вопросы, с завженотделом делалось необъяснимое, Августина видела это и не умела назвать.

Женщина перед ней менялась физически. Щёки розовели, дыхание учащалось, и пальцы, сжимавшие папку, разжались и легли свободно. Колени подрагивали, и Кораблёва оперлась спиной о подоконник, чтобы этого не было заметно. Морщины у глаз разгладились, и голос сел на полтона ниже.

Августина отметила перемену и отложила её в раздел неистолкованного. Она спрашивала о курсах, потому что курсы были частью аппарата, а аппарат требовал учёта. Остальное шло само, помимо её расчёта, и цену этому она пока назначить не могла.

— Хорошо, — сказала она, когда Кораблёва закончила докладывать. — Подготовьте справку. Цифры по цехам и по учреждениям отдельно. К понедельнику.

К лестнице она пошла ровным шагом, не оглядываясь. Руки не подала и кивком не простилась, ободряющего слова не добавила.

Кораблёва осталась у окна.

Она стояла лицом ко двору и смотрела на мокрые доски, на яблони у забора и на низкое майское небо, лежавшее над губернией, как крышка над кастрюлей.

Её выслушали. Не перебивая и не поправляя, не переводя разговор на более важное, без снисходительной улыбки, которую в губкоме держали для женского отдела, и без раздражения, которое появлялось у мужчин, когда женщины говорили о своём слишком громко.

Просто выслушали до конца.

И от этого с неё словно сняли груз, который она носила с девятнадцатого года, с телеграммы про Петра. Внутри было горячо и свободно, и названия этому не нашлось ни в бюрократии, ни в отчётах, которые она составляла третий год.

Кораблёва стояла неподвижно, пока не выровнялось дыхание. Пальцы лежали на подоконнике и больше не дрожали. Под рёбрами что-то перестраивалось, и остановить это она не могла.

Потом завженотделом развернулась и пошла обратно к дверям зала. Спина держалась прямее, шаг стал твёрже, и каблуки застучали по паркету в полную силу.

Внизу по мраморной лестнице стучали каблуки Августины, ровно и без спешки, и стук уходил к вестибюлю.

В зале оставалось человек двенадцать, все мужчины.

Тюрин у стола президиума складывал бумаги стопкой, проводя большим пальцем по краям и выравнивая углы, как выравнивают важные документы, а не черновые протоколы.

У окна Лущик и заведующий коммунальным хозяйством дотягивали спор о бане. Каждый следующий аргумент звучал тише предыдущего, и скоро от спора остались только обрывки фраз, произносимые вполголоса, больше для порядка, чем для результата. Баня стояла недостроенной третий год и от этих разговоров ни разу не переменилась.

Гнездилов черкал в тетради, обмакивая перо в чернильницу сосредоточенно, будто работал над стихами, а не над отчётом.

Шапошный рылся в потёртой папке, водя пальцем по строкам какой-то ведомости.

Ястребицкий надевал пальто, застёгиваясь на все пуговицы, будто собирался в долгую поездку, а не за угол на Соборную.

В задних рядах сидели двое заведующих отделами с папками на коленях. Немолодые, с теми сухими лицами, какие образуются за двадцать лет службы при любой власти.

Стулья стояли вразнобой: венские с резными спинками рядом с кухонными табуретами, принесёнными из подсобки, когда официальных мест не хватило. Назад их никто не отнёс. Пол был затоптан, следы сапог, круги от мокрых каблуков и смятая бумага под стульями.

На краю стола на сцене остался графин с мутной водой. Воду налили утром и сменить забыли, и она отстоялась до желтизны.

Кораблёва вошла, прикрыла за собой дверь и остановилась посреди зала.

Никто сначала не обернулся. Спор о бане тянулся своим чередом, перо скрипело по тетради, и Шапошный продолжал листать ведомости в папке.

Гнездилов поднял голову первым. Поднял машинально, как поднимают, ощутив в комнате чужое присутствие. Пенсне сползло у него к кончику носа, и он поправил его одним движением, не отводя глаз.

Спор у окна смолк. Лущик обернулся, за ним заведующий коммунальным хозяйством, и оба замерли с полуоткрытыми ртами.

Кораблёва раздевалась.

Она делала это медленно и без театральности, так, как раздеваются перед врачом. Пальто сняла двумя руками, сложила пополам и положила на ближний стул. Пальто расстегнула пуговица за пуговицей, стянула с плеч и перекинула через спинку того же стула.

Платье потребовало больше труда: пуговицы были на спине, но она справилась сама, скрестив руки и работая пальцами вслепую. Платье соскользнуло на пол с мягким шуршанием, и она его не подняла. Бельё, чулки и туфли пошли тем же порядком, на стул или на пол, не глядя, без суеты.

Она выпрямилась и осталась стоять.

Голая, посреди зала заседаний губкома, под лепным лавровым венком и портретом на стене. Кожа была бледная, с голубоватым оттенком на груди и бёдрах — следы недоедания и зимы, которая не выветривалась до конца даже в мае. Рубчик старого шрама тянулся от левого плеча к локтю — память о ткацком станке.

Груди небольшие и упругие, соски тёмные, поднявшиеся от холода или от того, что происходило внутри. Бёдра широкие, рабочие, мускулатура набита стоячей работой за тридцать лет. Волосы на лобке тёмные и густые: бритьё интимных мест в перечень гигиенических норм, утверждённых губздравом, не входило.

Она не двигалась. Руки опущены вдоль тела, плечи развёрнуты, подбородок приподнят. Ни вызова в позе, ни намеренно брошенного взгляда. Она разделась и стояла так, как стоят на медосмотре, ожидая, когда вызовут следующего.

Пауза держалась ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы подняться и выйти. Рассудок у каждого в зале ещё работал и выдавал верный вариант: собрать с пола бумаги, надеть пальто, сказать что-нибудь нейтральное и уйти. Лущик сделал движение к двери, короткое, почти незаметное. Нога оторвалась от пола и осталась в воздухе, не сделав следующего шага.

Не вышел никто.

Помешательство накрыло зал целиком и сразу. Не по очереди и не парами, не так, чтобы один начал, а прочие подтянулись за ним — накрыло всех вместе, ударом в одну точку. Дыхание участилось у всех, и звук его заполнил зал, смешавшись со скрипом стульев и шорохом бумаги.

Руки задрожали сначала у Гнездилова. Он выронил перо, и клякса расплылась по тетрадной странице отчёта. Следом у Шапошного, чья папка выскользнула из пальцев и легла на пол, рассыпав ведомости с графами веером. Плечи вздрагивали мелко и непроизвольно, как при ознобе, хотя в зале было душно от натопленной печи и от дыхания.

Гнездилов подошёл первым. Не побежал и не кинулся, а подошёл медленно, проверяя каждый шаг. Руки у него дрожали так, что он не сумел расстегнуть собственный ремень, и Кораблёва расстегнула его сама, спокойно и деловито, двумя пальцами, тем же движением, каким работала у станка.

Он взял её стоя, упираясь руками в её бёдра, и стонал негромко и сдавленно, стараясь заглушить собственный голос. Кораблёва приняла его жадно, закинув голову и вцепившись

пальцами в плечи, и происходило с ней такое, чего не было ни с Петром, ни с кем бы то ни было за тридцать лет. Рассудок отключился полностью, оставив тело и голод, которого она в себе не подозревала.

Шапошный был вторым. За ним Лущик и заведующий коммунальным хозяйством, потом Ястребицкий, который успел снять пальто, но не успел большего, и вошёл в неё в расстёгнутой рубашке и подтяжках, упавших с плеч на бёдра.

Они брали её по очереди, и очередь складывалась хаотично, без порядка и без пауз: кто успевал, тот и занимал место. Кораблёва принимала всех, не разбирая и не выбирая. Тело её работало на пределе, влажное и горячее, отзывчивое на любое касание, и с каждым следующим она становилась только жаднее.

Руки её хватались за спинки стульев, за край стола и за чужие плечи, пальцы впивались в кожу, оставляя красные следы, которых никто не замечал и никто потом не вспомнил.

Тюрин подошёл последним из тех, кто подошёл. Он держался за край стола, дышал через рот, и ладонь съезжала по влажному лаку столешницы. Второй экссесс за одну неделю — это оказалось слишком для его сорокасемилетнего тела, и хватило его ненадолго.

Он вошёл в неё с тем выражением лица, с каким подписывал бумаги, механически, исполняя необходимое, кончил, едва начав, и отошёл, поправляя брюки дрожащими руками.

По нему было видно лучше всего, что это расход, а не праздник. Каждый, кто подходил, отдавал невозвратное, отдавал добровольно и с благодарностью, не зная, что отдаёт.

В заднем ряду остался сидеть один из заведующих, немолодой и седой, с папкой на коленях. Он смотрел, не отворачиваясь и не делая вида, что занят бумагами, и лицо его оставалось неподвижным, будто перед ним шла гроза, не требующая его участия. Кораблёва видела его краем глаза и не задержалась. Его не заметил никто, и он потом никому ничего не сказал.

Красное полотно на столе президиума смялось под локтями и спинами. Портрет над столом висел неровно, сдвинутый неосторожным движением, и за холстом виднелся край лепного венка, позолоченный и потрескавшийся.

В заколоченном зеркале через щели отражалось всё это разом: сдвинутые стулья, оброненные очки на полу и графин, опрокинутый и катящийся по сцене, оставляя мокрый след. Стекло катилось с низким грохотом, задевая доски настила.

Зал опустел не сразу. Люди расходились по одному, с промежутками, поправляя пиджаки, подбирая с пола бумаги, застёгивая ремни и пуговицы более сосредоточенно, чем требует обычно одевание.

Никто ни с кем не встречался взглядом.

Тишина в зале после того, как вышел последний, наступила окончательная, какая устанавливается, когда обсуждать больше нечего. Пахло махоркой, мокрым сукном и потом.

Протокол заседания дописали на другой день, до последнего пункта повестки. В нём значилось, что вопросы исчерпаны, замечаний не поступило и заседание закрыто в установленном порядке. Портфель Лущика, забытый под стулом, был возвращён ему дежурным без единого вопроса.

Кораблёва оделась последней. Она подняла с пола платье, надела его и застегнула пуговицы на спине сама. Надела пальто, повязала платок.

Из зала завженотделом вышла той же походкой, что и вошла, прямой и без суеты. Ткань платка кололась под подбородком, как всегда.

Она шла и чувствовала себя живой так, как не чувствовала никогда, включая годы, когда Пётр был жив и они вдвоём строили дело, в которое оба верили без остатка. Сегодняшнее чувство было другое. Плотнее и ближе, неоспоримее, и слов для этого у неё не находилось ни партийных, ни домашних.

Гнездилов шёл по Троицкой и вдруг понял, что счастлив.

Редактор остановился посреди тротуара, моргнул несколько раз, как выходят из тёмной комнаты на свет, и зашагал дальше, ускоряя ход, будто боялся, что счастье его догонит и он не сумеет его вынести.

Августина ужинала дома. Тарелка шей, кусок чёрного хлеба и стакан воды: ужин подобран по достаточности, а не по удовольствию.

Она читала подшивку губернских «Известий» за прошлый год, перелистывая страницы левой рукой и поднося ложку правой. Карандаш отмечал фамилии, даты и цифры — всё, что могло пригодиться для работы в аппарате.

Между страницей о посевной кампании и страницей о продналоге она почувствовала прибавку.

Тепло шло снизу вверх, по позвоночнику, заполняло грудную клетку и добиралось до затылка. Густое и живое, то, что она брала от Тюрина в своей гостиной, но теперь без её участия. Без разговора и без прикосновения, без единого жеста с её стороны. Просто пришло, как приходит по вечерам электричество, по расписанию, которого она не устанавливала.

Августина отложила ложку и положила ладонь на грудь.

Она не спрашивала себя ни от кого пришло, ни сколько. Вопросы были второстепенные. Главным оставался факт: охотиться самой больше не обязательно. Инструмент, который она вчера искала в Потехине, работал сам, без её указаний и без её присутствия, и не требовал за работу ничего.

О Потехине она подумала и мысль отложила, как откладывают прочитанную газету. Не сейчас. Начальник губотдела понадобится, когда потребуется то, чего бесплатный инструмент дать не может.

Тепло продолжало идти волнами снизу вверх, заполняя холодное тело тем, в чём оно нуждалось. «Известия» лежали на столе раскрытыми на статье о продналоге, и никто в городе — ни Тюрин, ни Слепцов, ни двенадцать человек в зале заседаний — не знал, что произошло за этот вечер.

А может, и знали. Говорить об этом не собирался никто.

## Глава 4. Потехин

Утро начальника губотдела ГПУ начиналось с овсянки без соли и масла. Семён Игнатьевич добросовестно выскребал ложкой стенки миски — диеты требовала рана от засевшего в животе осколка, который в двадцатом решили не трогать. Каша была тёплой и никакой на вкус. Он считал это дисциплиной.

Стол в его кабинете упирался в стену с дореволюционной картой губернии, утыканной булавами. Красные означали расстрелы, синие — продналог, чёрные — безымянные трупы. Перед сном хозяин кабинета водил по ней пальцем, не выбирая направления. Красных было больше, чем ему хотелось бы помнить. Головки булавок холодили подушечку пальца, и палец шёл дальше.

На другой стене над столом висел портрет в потемневшей дубовой раме. Изредка Потехин обращался к нему вслух, сообщая о намерениях коротко и по делу. Портрет ни разу не возразил, только стекло отзывалось на каждый хлопок двери коротким сухим дребезгом.

Напротив стола стоял жёсткий клеёчатый диван. Начальник на него не садился: из его кресла было видно и карту, и дверь, а клеёнка скрипела так, что о всяком севшем докладывала раньше секретаря.

В углу стоял тяжёлый сейф с латунной ручкой. По субботам, заперев дверь, Потехин присаживался рядом, открывал толстую дверцу и пересчитывал клад: тридцать семь золотых монет, две серебряные цепочки и бриллиантовое кольцо купца третьей гильдии, которому оно больше не требовалось. Счёт всегда сходился. Монеты ложились обратно в холщовый мешочек, нагретые ладонью, и шнурок затягивался туго.

Хромовые сапоги Потехина скрипели при каждом движении. Он медленно жевал свою безвкусную кашу, вертя в пальцах левой руки нераскуренную «Иру», и запахи кабинета добавлялись к каше без спроса: сырой гранит стен, дешёвый табак и слабая химия из комнаты Дробыша, тянувшаяся по коридору упорнее, чем это удавалось кому-нибудь из подчинённых.

Потехин доел, отодвинул миску, закурил наконец свою «Иру» и взял стопку утренних сводок. Читал вслух, хотя был в кабинете один. Так лучше запоминалось, а кроме того, ему нравился свой голос, который в пустой комнате звучал начальственно.

— Заволочный уезд, — произнёс он, откашлявшись. — Арестован местный житель Панкратов Ефим, сорок два года, за самогоноварение. Обнаружено два котла, три ведра браги и медный змеевик собственного изготовления. Допрашивается.

Змеевик собственного изготовления он отметил про себя с уважением. Мужик умел работать руками. Бывший слесарь в нём это ценил, а нынешний начальник губотдела ГПУ обязан был пресечь. Оба уживались в одном кителе двенадцатый год и давно не спорили.

Лист лёг в сторону, следующий занял его место.

— Элеватор на Волжской пристани. Пропало семьдесят пудов ржи из закромов третьего этажа. По следам видно ночное проникновение через слуховое окно. Подозреваемый: грузчик Фома Рябой, уже имеет приводы. Ищется.

Слово «ищется» ему нравилось. Оно ничего не обещало и никого не обязывало.

Третий лист оказался длиннее прочих.

— Список этапирuемых в центральную тюрьму. Четыре фамилии. Горбылёв, Шапов, Дудырин, Налимов. Все по статье пятьдесят восемь, пункт десять. Конвой: Пузанов и ещё один. Отправка сегодня в четырнадцать ноль-ноль.

Начальник кивнул. Всё как обычно. Ничего нового и ничего, что требовало бы его личного вмешательства. Ровное, хорошо смазанное утро, в котором четыре фамилии умещались в одну строку и никому не мешали.

Под стеклом на столе лежала пожелтевшая справка из продотряда. Бумага тонкая, почти прозрачная, с водяными знаками, различимыми только на свет. Дата: 12 мая 1920 года. Подпись командира отряда, которого Потехин с тех пор ни разу не встретил и ни разу не искал.

Рядом лежал медальон, маленький, овальный, с потёртой серебряной цепочкой. Внутри была Настасья до замужества: тонкая девичья фигура, тёмные волосы собраны в пучок. Иногда он открывал крышку и смотрел. Никому не показывал.

Показывать было незачем. Женщина на карточке относилась к нынешней Настасье примерно так же, как дореволюционная карта на стене к нынешней губернии: те же посёлки, но другие названия, и половина отметок поставлена уже им самим.

Ложка с выбитым номером сорок семь была из той же жизни. Он таскал её с собой с двадцатого года и каждое утро ел ею протёртую кашу. Кто числился сорок шестым и сорок восьмым, начальник губотдела не знал и не выяснял. Некоторые вопросы портят аппетит, а он и без того ел одно протёртое.

В дверь постучали. Головы он не поднял.

— Войдите.

Вошёл молодой конвойный: форма на нём ещё не обносилась и топорщилась, петлицы новенькие, сапоги ступали неуверенно и слишком громко. Пузанов. Двадцать два года, из деревни под Бузулуком, третий месяц на службе.

— Товарищ начальник, списки подписаны. Можно отправлять?

— Садись, — сказал Потехин, показывая на стул. — Есть минутка.

Пузанов сел, выпрямив спину, и положил руки на колени. Смотрел он так, как смотрят все новички: страх, уважение и желание понравиться в пропорциях, знакомых до зевоты.

Бузулук в графе о происхождении Пузанова Потехин заметил ещё вчера и приберёт до случая.

— Видишь это? — начальник ткнул пальцем себе в живот, чуть ниже солнечного сплетения. — Железка. С двадцатого года. Бузулук. Знаешь такой?

Пузанов кивнул.

— Там шла кавалерия. Белые наступали, мы отходили. Меня достали вилами. Мужик местный, из своих же, только на другой стороне оказался. Ткнул вот здесь, — палец повторил свой путь, — и ушёл. А кусок железки застрял в рёбрах. Но я выжил. Врачи сказали: чудо. А я им: чуда тут нет, есть характер.

Сочувствия он не ждал и не хотел. История служила иному. Он остался жив там, где ложились другие, пережил вилы, голод, войну и три смены власти. Теперь он сидел на Дворянской, 1, ел жестяной ложкой протёртую кашу и держал под рукой карту, портрет и сейф.

Мужик с вилами, надо полагать, пахал у себя под Бузулуком и в сводки не попадал. Обе стороны получили по заслугам, и осколок под рёбрами напоминал об этом на каждом глубоком вдохе.

Пузанов слушал, широко раскрыв глаза, и кивал после каждой фразы усердно, как на первом уроке грамоты. Потехин знал цену усердию. Через полгода парень будет кивать так же, только медленнее.

— Понял, товарищ начальник.

— Иди, — сказал Потехин. — Четырнадцать ноль-ноль, не опаздывать.

Дверь закрылась. Начальник выдвинул нижний ящик и достал папку из серого картона с надписью, сделанной его собственной рукой: «Гильбих А. К.».

Внутри лежали четыре документа. Мандат с рельефной печатью, который он проверял на свет, как проверяют деньги. Выписка с пристани: «Володарский», один чемодан. Донесение агента: «Без сопровождения. Молчалива. Взгляд прямой. Перчатки не снимала». И его собственный запрос в Москву от двадцать восьмого апреля, к которому не прилагалось ответа.

Он поднёс чистый лист к окну и посмотрел на просвет. Невидимых чернил не обнаружилось. Обнаружилась пыль на стекле, о которой следовало сказать уборщице. Он решил не говорить, только провёл ногтем по раме и стёр серую полосу о штанину.

За двенадцать лет службы Потехин выучился читать молчание сверху. Молчание бывало разного качества. Это было ровное, без интонации, и оттого неудобное: в нём не читалось ни одобрения, ни предупреждения; не было даже равнодушия, которое тоже сведения.

Визит он не отменил. Перелистал папку, сверил даты и уложил её в ящик ровно, углом к углу.

Десять утра. До вечера оставалось восемь часов, распределённых заранее: подписать бумаги, проверить конвой и переодеться. Явиться с нужным выражением лица.

Железка ныла, как всегда после еды. Он привык к ней, как привыкают к жене и к должности. Папироса погасла в гильзе от трёхлинейки, и рука сама потянулась к следующей сводке.

Особняк на Малой Дворянской встретил его запахом старого дерева, воска и цикория, а под этим запахом лежало нечто, чего Потехин не назвал бы, даже если бы с него потребовали под протокол. Это был густой дух, въевшийся в стены, как въедаются чернила в пальцы счетовода. От него слегка кружилась голова. Вслух Потехин этого не признал бы.

Он вошёл без стука. Стучаться полагалось другим, его подошвы со скрипом ступили на вытертый порожек.

В прихожей начальник снял пальто, повесил на крючок, поправил китель и только после этого постучал в дверь кабинета. Один раз, коротко, как стучат в дверь, за которой тебя ждут.

Пол у порога скрипнул дважды, с промежутком, будто докладывал о нём по инстанции.

Августина сидела за столом в той же позе, что и три дня назад в губкоме. Прямая спина, руки на скатерти и ровный взгляд без выражения. Тёмное платье с высоким воротником. И перчатки: она не сняла их ни на пристани, ни в пролётке и не сняла здесь, у себя дома.

Перчатки Потехин рассмотрел профессионально, как рассматривают вещественное доказательство. Не кожа и не шерсть, что-то иное, похоже на лайку, но с лёгким блеском, будто вощёное. Ни складки, ни следа от пальцев.

За двенадцать лет он привык выискивать в вещах отпечаток хозяина. В её перчатках он не заметил ничего. В губернии он знал всех наперечёт, и знание лежало у него в папках ровными строчками, разложенное по уездам и годам.

Женщину за столом заносить было некуда.

Потехин положил принесённую с собой папку на сукно обложкой вверх и ровно, чтобы имя, выведенное его собственной рукой, читалось с её стороны: «Гильбих А. К.».

Приём был проверен на десятках людей и до сих пор не подводил. Человек видел своё имя на казённом картоне и делался меньше ростом, не поднимаясь со стула.

На Августину картон не подействовал. Она посмотрела на папку так, как смотрят на стул или занавеску: отметила присутствие предмета и вернула взгляд на собеседника.

Кабинет обставляли люди, не собиравшиеся здесь задерживаться. Диван в изношенной обивке, несколько разномастных стульев и стол под зелёным сукном. Помещение небольшое: их было двое, и это уже казалось многолюдно.

На столе, справа от центра на сукне темнело пятно, неровное и размазанное, будто чернила пролили и вытирать не стали. Начальник губотдела заметил его сразу. Глаз был натаскан на такое: пятна, царапины и светлые прямоугольники на выцветших обоях. Ворс на пятне сбился в жёсткую корку. Рядом лежал мундштук, полированный, с обломанным кольцом. Чужой мундштук в чужом доме, который никто не потрудился выбросить.

Голенищева в губернии не поминали вслух, и дело его было изъято вышестоящим начальством. Потехин отметил пятно и мундштук и оставил эти сведения при себе, как оставлял многое, чему пока не находилось графы.

Феклуша внесла поднос с чайником и двумя чашками. Широкое лицо, тёмный платок и ни одного лишнего движения. Она разлила чай и вышла, не подняв глаз ни на гостя, ни на хозяйку.

Скупость её движений была не новой. Так двигаются, когда тысячу раз повторяют одно и то же для одного и того же человека. Носик чайника сам нашёл край чашки, не звякнув о фарфор.

Чай оказался крепким и горьким, явно с цикорием. Заварен он был по вкусу предыдущего хозяина. Дом продолжал обслуживать того, кого в нём уже не было, и заваривал ему напиток по три ложки на чайник, как приучили.

— Где служили до назначения? — спросил Потехин, не притрагиваясь к чашке.

Он выдержал паузу, не отводя глаз, как выдерживают её с упрямым свидетелем. Чашка остывала, и пар над ней сошёл на нет.

— В Москве, — ответила она. Одно слово, без подробностей и без интонации.

— Кем рекомендованы?

— Секретарём ЦК.

— Почему Москва молчит на мои запросы?

Ответа не последовало. Августина наклонилась вперёд, положила локти на сукно и спросила сама:

— А у вас давно железка в животе?

Вопрос пришёл не с той стороны, с которой он ждал. Потехин привык спрашивать сам и отвыкать от этого не собирался, а о себе не отвечал вовсе.

— С двадцатого года, — сказал он, всё же решив ответить. — Бузулук. Вилами.

— Больно?

— Иногда. После еды. Особенно если ем острое.

Утром он распоряжался каждым словом этой истории. Сейчас распоряжался не он. Слова выходили сами, ровно и по порядку, будто их вынимали из ящика чужие руки, а он стоял рядом и смотрел, как разбирают его собственную картотеку.

Дробышу о боли он сообщал только суммой: раз в месяц морфий, подпись, дата. Настасье не сообщал ничего.

— А Москвы боитесь? — спросила Августина.

— Москвы? — он фыркнул, возвращая себе голос. — Я Бузулук пережил. Москва после Бузулука — как воскресный обед после голодного года.

Голос дрогнул на середине фразы, тонко, почти неслышно. Сам он этого не заметил бы. Женщина напротив заметила и двинулась дальше, не торопясь и ничего не пропуская, как идут по описи имущества: пункт, следующий пункт, отметка в графе.

— А золото в сейфе пересчитываете часто?

Тут начальник губотдела опешил окончательно.

Про сейф не знал никто. Ни Настасья, ни заместитель, ни человек, поставивший ему подпись в Москве. Его субботний пересчёт был единственным доказательством, что в жизни есть постоянная величина, не зависящая ни от урожая, ни от смены власти.

— По субботам, — выпалил он от неожиданности и тут же пожалел. — То есть... я...

— Логично, — сказала она и на этом остановилась.

За полчаса Потехин выложил ей то, чего не выкладывал жене за десять лет. Всё, что утром служило ему бронёй, лежало теперь на зелёном сукне разобранным, как вещи задержанного перед описью: ранение, страх, сейф, суббота, запёртая дверь и снятая трубка телефона.

Августина слушала. Не перебивала и не поддакивала, не переспрашивала, и говорить при ней оказывалось легче, чем молчать.

Папка лежала рядом нетронутой, обложкой вверх, с её именем, выведенным его аккуратным почерком. Он скользнул по ней взглядом раз и другой, потом ещё, и каждый раз отводил глаза.

Открыть её было можно. Можно было выложить мандат, выписку с пристани, донесение агента и собственный запрос, потребовать объяснений по пунктам. Вместо этого он рассказывал про субботы.

Папка молчала так же ровно, как молчала на его запросы Москва. Молчание, выходит, шло не только сверху.

Перемена наступила не сразу. Так меняется погода, когда тучи заходят с той стороны, куда никто не смотрит, и небо оказывается другим прежде, чем это успевают заметить.

Августина встала, обошла угол стола и села рядом на соседний стул, боком, так что её колени почти соприкасались с его. Лишних движений в этом переходе не было ни одного, и Потехин, привыкший читать походку, не нашёл в ней ничего, что мог бы занести в протокол.

Соблазнения не было. Ни намёка, ни полуулыбки, ни жеста, который годился бы в свидетельские показания как приглашающий. Она просто взяла его руку — своей в перчатке его голую — и положила себе на колено.

Ткань перчатки была прохладной, и под ней ладонь оказалась ровно такой же. Живого тепла в ней не было совсем. Потехин пересчитывал за двенадцать лет достаточно рук, живых и остывших, и эта не походила ни на одни. По спине прошла дрожь, которую он не подавил.

— Можно? — спросила она.

Вопросом это не было. Ответ она знала прежде, чем открыла рот.

Он кивнул. Молча, одним движением, и этого хватило.

Августина расстегнула ему брюки деловито, без суеты, как расстёгивают чужую форму в приёмном покое, когда торопиться уже незачем.

Он был готов. Так готов взведённый курок, и когда именно его взвели, Потехин сказать не мог. То ли на вопросе о золоте, то ли ещё в прихожей, где пахло старым деревом и цикорием.

Августина взяла его в рот. Так берут пробу: оценивая вкус, плотность и качество, чтобы после занести результат в нужную графу.

Перчаток она не сняла. Холодная через ткань ладонь лежала у него на бедре, губы были живыми и тёплыми, и это несовпадение начальник губотдела почувствовал раньше удовольствия, а разобрать не успел.

Затылок его упёрся в спинку стула. Пальцы схватились за край стола и смяли зелёное сукно в горсть, и чернильное пятно перекошилось, вытянувшись из кляксы в очертания залива на старой карте.

Булавок на этой карте не было.

Хромовые сапоги скрипели по половицам. Снять их Потехин не успел и не подумал, и теперь они отзывались на каждое движение, которого он не мог сдержать.

Скрип мешался с дыханием, тяжёлым и прерывистым. Он слушал это дыхание отдельно от себя, как слушают показания за стеной, и не находил в нём ничего своего.

Лампа под зелёным абажуром горела на столе. Свет ложился на обоих ровно, без теней, и делал происходящее похожим на приём в присутственные часы: заседание идёт, протокол ведётся, посторонних нет.

Августина лампу не погасила. Она работала языком при свете, как работают днём, и от этого начальнику губотдела было жутко и хорошо разом, причём одно от другого не отделялось.

Руки её оставались деловыми и почти скупающими. Она делала необходимое: держала ритм, касалась где следовало и дышала так, как положено дышать в подобном деле. Ни страсти, ни желания, ни любопытства в этом не было.

Так работает исправный станок: точно, без лишних усилий, ровно на заданном ходу. И от этого равнодушного внимания Потехин терял голову вернее, чем потерял бы от любой страсти.

Себя он видел со стороны: пальцы, вцепившиеся в сукно, скрипучие сапоги на половицах и лицо, которого не узнавал. Размягчённое и потерянное — и молодое, каким оно было до Бузулука и до вил.

Останавливаться он не мог и не хотел. Хотелось, чтобы это тянулось долго, потому что сейчас он не был ни начальником губотдела, ни мужем Настасьи, ни владельцем сейфа. Он был просто мужчиной, которому хорошо в чужом доме на Малой Дворянской.

Боль ушла. Впервые с двадцатого года железка молчала, и Потехин отметил это благодарно, а испугаться благодарности времени у него не осталось.

Августина между тем измеряла его. Она слушала его пульс, его дыхание, отзыв тела на каждое движение и до конца сознательно не доводила. Всего, что могла взять, не брала, оставляла запас и оставляла его живым, потому что живым он был нужен завтра, послезавтра и дальше.

Остановилась она не оттого, что он кончил, а оттого, что сочла достаточным. Изнеможения не пришло. Пришла лёгкость, ровная и незаслуженная, будто с плеч сняли вещмешок, который он таскал столько лет, что перестал замечать вес.

Потом она встала перед ним, расстегнула юбку и подняла её. Живот, бёдра и тёмный треугольник волос.

Она взяла его руку и положила себе между ног, направив пальцы. Внутри было прохладно, ровно настолько же, насколько снаружи, и это оказалось единственным, что Потехин успел додумать словами.

Потом она повернулась, упёрлась ладонями в край стола, отчего сукно съехало к чернильнице, и подала бёдра назад. Соединились они в одно движение.

Инструментом при этом был он, и распоряжалась им она. Августина двигалась ровно и размеренно, почти лениво, и он чувствовал каждый вершок этого движения и каждое сокращение мышц, работавших точнее, чем это бывает у живой плоти.

На мгновение ему всё же показалось, что овладевает он.

Когда всё кончилось, Потехин встал, поправил брюки, одёрнул китель и провёл рукой по волосам. Обычные движения, которыми мужчина возвращает себе ощущение власти над положением.

Но власти не было. Была лёгкость, чистая и невесомая, поднимавшая его с пола так, будто он весил не пять с половиной пудов, а полфунта.

Он чувствовал себя мальчишкой, не знающим ещё ни вил, ни сейфа, ни Москвы. Мальчишкой, который просто живёт и радуется тому, что жив.

Он стоял посреди кабинета особняка на Малой Дворянской, поправляя китель, и смотрел на хозяйку так, как смотрят на неожиданную премию: благодарно, недоумённо и слегка оторопело.

— Спасибо, — сказал он и сразу пожалел.

Слово вышло мелкое, годное для получения пайка, а не для того, что случилось. Но других у него не нашлось. За двенадцать лет службы благодарить ему приходилось только вышестоящих, и получалось это плохо даже с ними.

Августина кивнула. Один раз, коротко, как кивают, приняв доклад.

Потом она заговорила о другом, и Потехин не заметил, где сменился разговор. Только что он застёгивал брюки, и вот уже сидит с папиросой, а она говорит о деле так, будто между этими минутами ничего не стояло.

Папка лежала между ними закрытой. Он скользнул по ней взглядом и снова ничего не сделал.

Августина держала чашку обеими руками. Чай давно остыл и затянулся плёнкой, но она не пила и держала чашку, кажется, по той же причине, по какой держат карандаш на заседании.

— Мне нужны приговорённые к расстрелу, — сказала она. — Живыми. Привозить сюда, во двор, после одиннадцати. Что с ними будет дальше, не ваша забота.

Потехин готовился к просьбе о дровах.

Но прозвучало другое, и сказано было без нажима и без паузы, тем же голосом, каким спрашивают, свежий ли чай. Голос был ровный и хозяйственный, не допускавший ни возражений, ни уточнений, и вопрос, стоявший у начальника губотдела в горле, остался стоять там же.

— Этапируемых тоже могу давать, — добавил он вместо этого. — Которых можно не довести. Задержанных без документов, — он помолчал. — С последними осторожнее.

— Как оформлять?

— Акт о приведении приговора в исполнение. Время, место и причина смерти. Две подписи, моя и врача. Без подписей недействительно.

— Врач кто?

— Дробыш. Сорок лет, морфинист, руки трясутся, но подпись ставит ровно. Возьмёт и не спросит. Ему главное доза, а не бумаги.

— Конвойные?

— Пузанов и ещё один. Молодые и глупые, платить помесечно. По десять рублей на нос, больше — разбалуются.

— Куда заезжать?

— Во двор задом. Со стороны переулка, чтобы не разворачиваться на улице. Ворота широкие, телега проходит. Ночью, после одиннадцати, когда на Дворянской никого нет.

Отвечал он охотно и подробно, как отвечают по хорошо знакомому предмету. Двенадцать лет службы пригодились наконец целиком и разом.

— Куда девать?

— В морг. Нарушение инструкции заметнее самого дела. Труп в морге — законен. Труп в овраге — вопрос. Вопросы нам не нужны.

Отвечал он, не задумываясь, доставая ответы оттуда, где они пролежали годами, как лежат в чулане старые газеты: пыльные, невостребованные, а выбросить рука не поднимается.

Каждый ответ был выверен и проверен на деле. Систему Потехин знал изнутри, знал все её щели и все места, где можно недоглядеть, недописать и оформить так, что выйдет законно, даже когда законного нет ни на грош.

Пока говорил, в его мозгу, как бы отдельно от него, работало холодное счётное устройство, в котором он сам себе не всегда сознавался.

Устройство складывало: двое конвойных — двадцать рублей в месяц. Дробыш, которому морфий и так выдаётся по рецепту, вопрос лишь в дозе. Трупы в морг, где Ланской подписывает не глядя всё, что кладут ему под руку, и делает это пятый год подряд.

Риск выходил малый, выгода большая, а главное, канал получался собственный. Не только для неё, но и для себя: для сейфа, для покоя и для того дня, когда Москва всё же ответит и понадобится что-то, что можно положить на стол первым.

Юридическую рамку он проговорил вслух сам. Никто его не спрашивал. Так проверяет себя перед экзаменом тот, кто готовился двенадцать лет и до сих пор ни разу не садился.

— С двадцать второго года внесудебных полномочий нет. Расстрел — только по приговору. Каждый акт под роспись. Без подписи трибунала — это самоуправство. Без подписи врача — нарушение процедуры. И то, и другое — статья.

Он замолчал и посмотрел на неё через стол и через дым папиросы. Между ними за этот час установилось расстояние, которого он не умел ни измерить, ни назвать.

В кабинете стояла тишина. За стеной, в столовой, часы отбивали своё, ровно и без всякого участия в происходящем. Феклуша заводила их по вторникам, и бой отдавался в половицах под сапогом.

— Я согласен, — сказал он наконец.

Два слова, без пафоса и без угроз. Ими начальник губотдела добровольно брал на себя поставку живого материала.

Папиросу Потехин докурил до конца и раздавил в блюдце жестом привычным и окончательным, словно поставил подпись под соглашением. Решение принял не разум и не совесть. Раздавленная гильза хрустнула под большим пальцем, и он снял с губы прилипшую крошку табака.

В голове уже складывался порядок. Двоих конвойных мало, нужен третий. С Дробышем договориться на двойную ставку. Для морга приготовить бумаги чистые, с подписями, печатями, маршрутами и часами приёма, чтобы и в Москве не нашлось, к чему прицепиться.

Ведь он — Семён Игнатьевич Потехин, начальник губотдела ГПУ, выживший под Бузулуком, и слово его в губернии стоит закона.

Женщина в тёмном платье представлялась ему при этом трофеем. Она нуждалась в его связях, он нуждался в ней, и удобнее этого Потехин ничего не придумал.

Он встал, поправил китель и застегнул пуговицы. Августина осталась сидеть с остывшей чашкой, и ровный взгляд её отметил только то, что гость собрался.

— До завтра, — сказала она.

Потехин кивнул, вышел в коридор и двинулся к лестнице, как выходят с закончившегося совещания.

Уже на ступенях рука привычно легла под мышку и папки не нашла. Он вернулся, взял её со стола и вышел вторично, чего с ним не случалось ни в одном доме за двенадцать лет службы.

На улице холодный майский ветер щипал влажную кожу. Фонарь бросал жёлтый круг на пустую брусчатку. Ни прохожих, ни постового с угла Троицкой, ни даже кошек.

Потехин остановился в этом круге с папкой под мышкой и постоял, будто пытаясь что-то припомнить.

Когда именно он согласился, вспомнить не удавалось. Только что речь шла о конвойных и о Дробыше, и вот он уже подрягается на канал, на поставку и на всё прочее, за что в Москве ставят к стенке без права помилования.

Она попросила. Отказать он не смог, и другого объяснения у него не было.

В папке лежали документы, собранные и проверенные за три дня, его последний козырь. Козырь превратился в бумагу: всё решилось помимо неё, поверх печатей и подписей.

Он послушал ветер в телеграфных проводах, поглядел на тёмные окна особняка и пошёл по мостовой в сторону Дворянской, где его ждали кабинет, карта с булавками и сейф.

— Завтра к вечеру всё будет готово, — сказал он вслух, и никто ему не возразил, только сапоги согласно поскрипывали при каждом шаге.

Шёл он ровно и не оглядывался. За спиной оставался особняк, тёмный и молчаливый, с задёрнутыми шторами и запертой дверью, а по мостовой уходил человек в скрипящих хромовых сапогах, с чужим именем на обложке и четырьмя документами, которые больше ничего не значили.

## Глава 5. Первая поставка

Ночь стояла тёмная, майская, и пахло свежеспаханной землёй, а поверх неё тянуло горелой соломой, которую Ляпин не назвал бы и под протокол. Телега качалась по грунтовке, и подковы на ухабах стучали неровно, будто сердце, которое устало пугаться.

Верёвка держала руки за спиной не туго, лишь бы сидел смирно. Рот пересох. Сапоги жали в подъёме, левый особенно: мозоль над большим пальцем натёрлась ещё в марте, а сменить обувь было не на что, да и ни к чему теперь.

Один, два, три... Ляпин считал повороты одними губами, почти беззвучно. Привычка деревенская: везёшь сено, считаешь столбы, везёшь дрова, считаешь пни у обочины. По всем приметам, его везли расстреливать. Конвойный молчит, едут околицами, в объезд главной дороги. От конвойного тянуло сырой шинелью и дёгтем.

Четыре, пять, шесть... Думал он не о смерти. Боялся, конечно, но смерть была слишком велика, чтобы подступиться к ней прямо. Вместо неё в голову лезли три рубля, оставшиеся за ним Митьке Сорокину за прошлогоднее сено. Митька был мужик памятный и не прощал даже родне, но теперь долг закрывался сам собой. Ляпин пошевелил пальцами: верёвка врезалась в запястье чуть ниже косточки.

Мать в Гнилицах, наверное, уже легла: керосин она берегла, а глаза всё равно не годились ни для чтения, ни для шитья. О том, что сына везут к оврагу за городом, старуха узнает не скоро, а может, и не узнает совсем: писать ей будет некому.

Семь, восемь... Дорогу к оврагу за Гнилым Ляпин знал не хуже пути до колодца. Туда возили с восемнадцатого года, и в городе её помнили лучше, чем ход к больнице: больница одна и на другом конце, а овраг близко и всем по пути.

Телега свернула не туда. Не к оврагу, а обратно, к городу, к мощёным улицам и фонарям, которые когда-то горели по вечерам и выхватывали из темноты то купца, то городского.

Ляпин сбился со счёта. Девятый поворот пропал между восьмым и той минутой, когда стало ясно, что везут его не расстреливать. Или не туда, где заведено это делать. Во рту стало кисло, и он сглотнул сухую.

— Куда? — спросил он конвойного.

Голос сорвался на полуслове, и вышло не то вопрос, не то стон.

Конвойный не ответил. Он сидел на облучке спиной к арестанту, курил махорку и молчал так основательно, будто ему за это платили отдельно и помесечно. Лошадь била подковами по булыжнику, и цокот перекрывал всё остальное: далёкий собачий лай и ветер, перебиравший листву в палисадниках.

Телега остановилась. Не у оврага и не у тюрьмы, не у стены, к которой водят по приговору, а у боковых ворот двухэтажного особняка в двух кварталах от губкома. Мимо этого дома Ляпин проходил раза два в жизни и всегда обходил его стороной.

Ворота открыли изнутри. Человек у створки оглядел телегу, как оглядывают подвезённый груз, и не сказал ни слова, только придержал створку сапогом.

Ляпина вывели. Не толкнули и не ударили, взяли под локоть и повели через узкий мощёный двор. Яблони вдоль забора стояли уже в листьях. Сирень в дальнем углу держала зелёные бутоны, сжатые, как маленькие кулачки. Оторванная водосточная труба билась о кирпич при каждом порыве ветра, и звенела, судя по всему, давно: в доме привыкли.

Из кухонного окна падал слабый свет керосиновой лампы. Электричество в городе давали до полуночи. Значит, полночь прошла. Из-под двери тянуло угольным чадом остывающей плиты.

В дом арестанта ввели через кухню, задним ходом для прислуги. Кухня пахла цикорием, чёрным хлебом и капустой, и запах сидел в стенах так же прочно, как въедается в руки работа у плиты.

Из кухни повели в коридор, из коридора в гостиную. Пол на пороге скрипнул дважды, под правой ногой и под левой. Ляпин остановился: гостиная оказалась не тем, к чему он себя готовил. Приготовлен он был к камере, к допросу и к побоям, хотя в губернии били редко и по распоряжению. Готов был даже к расстрелу. Стола он не ждал.

Стол был накрыт так, как встречают нежданного гостя в будний день. Хлеб чёрный, резаный, не свежий, но и не чёрствый. Чайник жестяной, с отбитым носиком. Две фаянсовые чашки с синим ободком, одна пустая, другая полная. Овальный стол был рассчитан человек на восемь, и посуду поставили с одного края.

Лампа под зелёным стеклянным абажуром стояла посреди скатерти, и свет ложился ровно, почти без теней. Над диваном висел портрет вождя, приколотенный чуть косо, чтобы закрыть невыцветший прямоугольник обоев от прежнего. Прямоугольник всё равно выступал с обеих сторон.

За столом сидела женщина. Тёмное домашнее платье, волосы цвета мокрой коры убраны в пучок, руки в перчатках лежат на скатерти неподвижно и ровно, как инструмент на верстаке до начала работы. Хозяйка не встала и не кивнула. Смотрела прямо, без выражения, и глаз не отвела, пока арестанта вели к середине комнаты.

Ляпин заговорил с порога, не дожидаясь вопроса. Слова пошли из него, как пар из перегретого котла, внахлест, перебивая друг друга. Он давился ими и глотал слюну на каждом втором слове.

— Я взял на себя чужое, товарищ! Если разобраться, я и не виноват! Там был ещё один, Михайлов, он главный, а я так, за компанию... Мать у меня старая, в Гнилицах, глаза совсем плохие, я ей каждый месяц три рубля посылаю, а теперь не смогу, потому что эти три рубля я должен Митьке Сорокину за сено, а Митька — человек строгий, не прощает, а я ему говорю: «Митька, погоди, весной отдам...» А весна пришла, а денег нет, а мать осталась без трёх рублей... Вы же понимаете, товарищ?.. Я не виноват! Там был ещё один, главный, а я так, за компанию, понимаете?

Говорил он без остановки: долг, мать, Михайлов, снова мать, снова долг, и так по кругу, не замечая, что повторяется в третий раз. Там, где слова не помещались в горле, они выходили хрипом. Связанные руки дёргались в такт речи: арестант пытался помогать себе жестом, а верёвка не пускала.

Женщина слушала. Она не перебивала и сидела всё так же прямо, держа руки в перчатках на скатерти. Так принимают сводку по уезду: внимательно и без участия. Разница была одна: сводку потом подшивают в дело. Перчатка на скатерти не шевельнулась ни разу.

Ляпин замолчал, и в комнате стало тихо. Слышно было, как остывает чайник, тихо щёлкая, и как за стеной шаркают по половице.

Женщина встала одним движением, ровным и точным, и указала на лестницу, ведущую на второй этаж, в тёмный коридор, откуда тянуло старым деревом.

Ляпин поглядел на лестницу, потом на хозяйку и на свои руки, всё ещё стянутые за спиной. Мозоль над большим пальцем беспокоила его последний раз в жизни. Ступени были стёрты посередине до белизны. Он пошёл вверх следом.

Спальня оказалась меньше, чем он готовился увидеть. Полы некрашенные, со щелями, и снизу тянуло сыростью. Железная кровать с никелированными шариками была застелена серым бельём, не грязным, но и не свежим. В доме, где стоял стол на восьмерых, бельё перестилали по своему порядку, и порядок этот Ляпина не касался.

Умывальник в углу стоял на железной треноге, вода в тазу отдавала затхлостью. Лампа на тумбочке горела с вывернутым фитилём и освещала край кровати, оставляя остальное в полумраке.

В спальне ничем не пахло. Весь дом пах воском, хлебом и керосином, а здесь — ничем. Ляпин потянул носом ещё раз и не нашёл ничего, и от этого пустого воздуха ему сделалось не по себе.

Августина вошла следом, притворила дверь, которую вело в раме, и повернула ключ. Щелчок в тихой комнате прозвучал громче, чем полагалось бы такой мелкой вещи.

— Раздевайся, — сказала она.

Сказано было коротко и без интонации, как отдают команду на построении. Ни пояснений, ни смягчений, ни «пожалуйста».

Ляпин стоял посреди комнаты со связанными за спиной руками и смотрел на неё, как смотрит солдат, не разобравший приказа, но очень старающийся его понять.

— Руки, — сказал он. — Они у меня...

Она подошла и развязала верёвку одним движением, не резким и не грубым, а быстрым и точным, как развязывают узел на мешке, который нужно срочно открыть. Верёвка упала на пол бесшумно.

Ляпин начал раздеваться. Пальцы затекли и не слушались, дрожали, скользили по пуговицам и промахивались мимо петель. Косоворотка, которую он носил третий год и которая давно потеряла первоначальный цвет, снималась с трудом: пуговицы застревали, ткань мялась, воротник цеплялся за подбородок. Он всё же стянул её, бросил на пол не глядя и принялся за штаны.

Штаны держались на завязках. Ремня у него не было с тех пор, как старый лопнул прошлой осенью, а на новый не нашлось денег. Завязки запутались в узел, который не поддавался пальцам, и Ляпин возился с ним долго, прежде чем развязал. Штаны соскользнули на пол, и он остался в длинной нижней рубаше до колен, которую мать сшила ещё до войны из домотканого холста, уже потёртого на локтях и на спине.

Сапоги были последними. Он сел на край кровати, скрипнув пружинами, и принялся за шнурки. Пальцы скользили, узлы не поддавались, он тянул и дёргал, а в конце концов стащил сапоги не развязывая, и они упали с глухим тяжёлым стуком, как падают мешки с картошкой.

Он сидел в одной рубаше, босой, с растрёпанными волосами и пересохшими губами, и дышал рвано, прерывисто. Страх у него стоял не в голове, а в теле: колени дрожали, руки тряслись, живот сжимался в комок, который мешал набрать воздуха. Плохое должно было произойти, а что именно, Ляпин не знал, и незнание оказалось хуже приговора, который ему уже читали вслух.

Августина стояла у двери и смотрела на него. Потом сняла перчатки. Сняла их медленно, аккуратно, по одной, сложила на спинке стула одну поверх другой, ровно, без складок, будто укладывала инструменты после работы. Руки у неё были бледные, почти белые, с тонкими длинными пальцами и аккуратными ногтями. Ни колец, ни браслетов, ничего, что выдавало бы её пол или возраст. Просто руки, холодные и точные, рабочие.

Потом она растегнула платье. Движения были точные и безличные, как расстёгивают пальто перед вешалкой. Пуговицы одна за другой, сверху вниз, без суеты и без спешки. Платье соскользнуло с плеч на пол с мягким шуршащим звуком, и под ним оказалась белая нижняя рубашка, простая, без кружев и вышивки, такую носили все женщины в губернии независимо от положения и достатка.

Рубашку она сняла тоже. Одним движением, через голову, не задерживаясь и не стесняясь, не делая пауз. И осталась голой.

Тело у неё было стройное, почти худое, с чёткими линиями рёбер под кожей и плоским животом, на котором не осталось ни складок, ни растяжек, ни прочих следов прожи-

того. Грудь небольшие, упругие, с тёмными сосками, которые сейчас, в прохладном воздухе спальни, слегка приподнялись и стали твёрдыми, почти выпуклыми. Бёдра узкие, прямые, без той мягкости, какая обычно бывает у женщин её возраста, скорее подростковые, ещё не сформировавшиеся до конца, но уже обретшие окончательную форму. Кожа везде одинаково бледная, почти фарфоровая, без веснушек и родинок, без мелких изъянов, которые есть у каждого живого человека.

Она подошла к кровати, положила руку Ляпину на грудь и толкнула, не сильно, но уверенно, так что он лёг на спину, и пружины жалобно заскрипели под его весом. Потом забралась на него сама, не медленно и не соблазнительно, а просто села верхом, как садятся на лошадь, коленями по обе стороны его бёдер, и, не тратя времени на прелюдии, ввела его в себя.

Он был готов не по своей воле. Тело, напуганное и возбуждённое разом, откликнулось на прикосновение так, как откликается любое мужское тело в подобном положении. Она начала двигаться ритмично и равномерно, без ускорений и замедлений, без пауз и рывков, которые обычно сопровождают этот процесс у живых людей.

Женщина не смотрела ему в лицо. Она смотрела чуть выше, в стену, где в полумраке угадывался контур пятна — то ли от сырости, то ли от копоти, то ли просто тень от шкафа. Лицо её оставалось неподвижным, без выражения и без намёка на удовольствие или неудовольствие. Она работала бёдрами методично и без лишних затрат.

Ляпин сначала сопротивлялся. Не словами и не криком, а телом. Мышцы напряглись, руки сжались в кулаки по бокам, челюсти стиснулись так, что на скулах выступили жёлваки. Он лежал под ней, как лежат под градом ударов, сжавшись и не шевелясь, ожидая, когда это кончится.

Пружины скрипом отсчитывали её движения — ровно, одинаково, без единого сбоя. Ляпин слушал этот счёт и понимал, что считают уже не его.

Потом сопротивление начало уходить. Не как решение и не как выбор, а как физический факт, который нельзя ни оспорить, ни остановить.

Первыми расслабились ноги: мышцы на бёдрах размякли, колени разжались, ступни перестали упираться в простыню. За ними отпустило живот, и дыхание пошло глубже и ровнее. Потом разжались пальцы, и ладони легли на простыню открыто, без напряжения, как лежат руки у спящего.

Последним отпустило лицо. Челюсть разжалась, губы приоткрылись, и на лице, которое минуту назад было искажено страхом, проступило облегчение, а следом благодарность. Страшнее этого в комнате не происходило ничего.

Приговорённый к расстрелу не должен быть благодарен. Ляпин был. Тепло поднималось у него от живота к груди, заполняло грудную клетку, добиралось до горла и останавливалось там, не находя выхода.

Страх, сидевший в нём с ареста, с телеги, с верёвки на запястьях, уходил и вытеснялся этим теплом. Чувство не имело названия, не было в нём ни удовольствия, ни восторга, а было оно проще и окончательнее. Ближе всего оно стояло к согласию.

Августина в это время чувствовала насыщение. Тепло шло снизу вверх по позвоночнику, не волной и не всплеском, а ровным постоянным потоком, как идёт вода по трубе, когда открыли кран. Удовольствия в этом не было. Было удовлетворение мастера, у которого инструмент сработал именно так, как задумано.

Она знала, что до утра он не доживёт. Знание это лежало в ней, как строка из таблицы умножения, не требующая ни чувств, ни сомнений. Приговор трибунала служил ей оправданием, которого не приходилось искать и формулировать: с точки зрения бумаг Ляпин был мёртв ещё до того, как его привезли. Всё остальное сводилось к трате того, что списано в любом случае.

Августина не останавливалась. Она двигалась ровно и размеренно, без ускорений и пауз, как работает механизм, рассчитанный на определённое число циклов. Циклы не заканчивались. Тепло шло снизу вверх, заполняя её холодное тело тем, в чём оно нуждалось, а Ляпин под ней отдавал и отдавал, переставая быть человеком и становясь источником, а потом переставая быть и источником.

В той части сознания, которая ещё работала, он понимал, что происходит, и сделать ничего не мог. Тело приняло решение без него. Тепло у него в груди оказалось сильнее страха и разума, сильнее всех долгов, о которых он говорил внизу, перед женщиной в перчатках за столом.

Он лежал и принимал происходящее как данность. Так принимает смерть тот, у кого нет выбора, и так тянется к костру замёрзший до бесчувствия.

Утро в доме началось обычным порядком. Феклуша постучала в дверь столовой с подносом, когда стенные часы отбивали шесть, и вошла, не дожидаясь ответа: привычка службы, которую не выбили ни смена власти, ни новые хозяева. У порога она остановилась, увидев, что хозяйка уже не спит.

Августина стояла у окна спиной к двери, в том же платье, что и накануне. Перчатки лежали на столе, сложенные одна на другую, без складок. Она не обернулась и сказала коротко, как отдают приказание по службе:

— В спальню не входить.

Феклуша кивнула, не переспросив и не сделав ни одного движения, которое сошло бы за любопытство. Поднос был поставлен на стол, чай разлит по двум чашкам, одна для хозяйки, другая для себя, хотя свою при хозяйке домработница никогда не пила: чашка наливалась по заведённому порядку, а не по надобности. Потом она вышла и притворила дверь с тем же тихим щелчком, с каким притворяла её всегда.

В прихожей уже топил печь Прохор. Феклуша прошла мимо, и старик не обернулся, потому что не услышал шагов. Глухота у него была полная, и мир по ту сторону её его не касался.

Домработница знала, за что его держат в доме. Печи он клал ровно, но достоинства его этим не исчерпывались. Глухого, который не проснётся от ночного приезда, найти труднее, чем хорошего истопника, и стоит он дешевле. Прохор понимал это без слов, тем животным чутьём, какое есть у всех, кто живёт, потеряв одно из важных качеств.

В своей комнате Августина подошла к овальному зеркалу с потрескавшейся амальгамой и осмотрела лицо внимательно, как осматривают работу.

Черты за ночь изменились. Не настолько, чтобы это бросилось в глаза постороннему, но достаточно, чтобы заметила она сама. Скулы смягчились и потеряли почти геометрическую чёткость. Кожа, гладкая, как фарфор, приобрела едва уловимую шероховатость. Губы, всегда бесцветные, отдавали теперь слабым розовым, как с мороза.

Перемены она отметила с удовлетворением. Чем обыкновеннее лицо, тем меньше к нему вопросов. Правильность притягивает взгляд, а неправильность позволяет пройти незамеченной.

Хозяйка надела перчатки, левую, потом правую, провела ладонью по ладони и вышла.

Во дворе губотдела ГПУ стояло время, когда ночь уже кончилась, а день ещё не начался. Каменные плиты покрывала майская сырость, не роса и не дождь, а влага, поднимающаяся тёплыми ночами из земли. Плиты тускло блестели.

Двор был пуст. Мыть его в это утро ещё не начинали.

Потехин вышел во двор, когда акт уже дописывали.

За складным столом у стены сидел Дробыш, врач губотдела, сорока лет, с нездоровой желтизной кожи и запавшими глазами. Халат он носил поверх штатского, воротник застёгивал

до последней пуговицы, левый рукав у него был чуть длиннее правого. Потехин знал почему и не спрашивал: молчаливому врачу и самому спокойнее, когда о нём молчат.

Дробыш заполнял акт о приведении приговора в исполнение. Бланк был обычный, в трёх копиях, на папиросной бумаге, с графами для даты, времени, места, причины смерти и подписей. Перо в руке врача подрагивало, не настолько, чтобы буквы вышли нечитаемыми, но достаточно, чтобы строчки пошли неровно.

«Ляпин. Исполнение приговора трибунала», — написал он и отложил перо, чтобы дать чернилам высохнуть. Рука его двинулась было к внутреннему карману халата, но остановилась на полпути: врач вспомнил, где сидит и при ком.

Потехин подошёл с другой стороны стола. Китель вычищен, сапоги начищены до блеска, лицо выбрито так тщательно, как бреются к важной встрече, а не к пустому двору перед рассветом. Он взял бланк, поднёс к лампе над воротами и проверил каждую графу.

Дата стояла правильная. Время, двадцать три часа сорок пять минут, укладывалось в ночной порядок. Место привычное, у глухой стены. Причина, исполнение приговора трибунала. Всё сходилось, а сходиться оно должно было на бумаге, и другой сходимости от него никто не требовал.

Начальник губотдела расписался вторым, рядом с подписью врача, размашисто, с росчерком, который в губернии узнавали не хуже, чем скрип его сапог. Потом положил бланк на стол и придавил пресс-папье, тяжёлым, с гербом, стёршимся до того, что уже нельзя было разобрать, чей он и от какой власти остался.

Бумага легла ровно. Графы сошлись, подписи стояли на местах.

За воротами скрипнула ранняя телега. Кто-то выехал на работу, не зная и не желая знать, что случилось этой ночью в двух кварталах отсюда, в особняке с кафельными печами и венецианским окном.

Дальше всё держалось на бумаге. Не на фактах и не на свидетелях, а на трёх листках с неровными строчками и двумя подписями. Их отправят в архив, где они лягут к тысячам таких же, никому не нужных до того дня, когда кому-нибудь вдруг понадобятся.

В морге губернской больницы было холодно даже в мае. Нештукатуренный кирпич, цементный пол, три стола вдоль стены, один занят, два пустые.

Пахло карболкой, а под карболкой держалось сладковатое и плоское, что живёт в цементе и в растворе между кирпичами.

Ланской стоял у занятого стола. Ему был шестьдесят один год, худощавый, малоподвижный, с циничным взглядом бесцветных глаз, как всякий, кто провёл десятилетия в обществе мёртвых. Руки прозектор держал опущенными, по привычке не трогать тело раньше, чем понадобится.

Простыню он откинул одним движением, быстрым и привычным, как откидывают занавеску, и остановился.

Повреждений на теле не было. Ни следов верёвки на запястьях, хотя по инструкции руки перед казнью полагалось связывать. Не было ни гематом, ни ссадин. Ни входного отверстия от пули с пороховым ожогом, ни выходного — ничего из того, что оставляет после себя расстрел.

Тело было высохшим. Не худым, а именно высохшим, как высыхает яблоко, забытое на зиму в чулане: кожа серая, натянутая на кости, щёки провалились, глаза ушли в орбиты, губы потрескались и обнажили дёсны. Такое лицо бывает после полугода болезни, когда от человека остаётся одна оболочка.

Ляпин не болел. По бумагам он числился здоровым и годным к труду, без жалоб. Взяли его за грабёж обоза на Заволочном тракте, приговор вынесли на прошлой неделе, кассацию отклонили. Ещё накануне арестант ел хлеб и ходил своими ногами, а теперь лежал на цинке, и осталось от него то, что остаётся после долгого недуга, а не после минуты у стены.

Прозектор не двигался. Такое он видел раньше, не здесь, а в Москве, в Мариинской больнице, в четырнадцатом году.

Случай был единственный за всю его практику, и объяснить его Ланской не сумел ни себе, ни тем, кто прочёл отчёт и вернул с резолюцией переписать. Молодая женщина двадцати шести лет поступила с общей слабостью, умерла через двое суток и на вскрытии выглядела так же, будто из неё выжали всю жидкость.

Он написал тогда «кахексия неясной этиологии» и к тому случаю больше не возвращался. Никто не возвращался. Дело закрыли, историю болезни сдали в архив, женщину похоронили на Ваганьковском, и всё пошло дальше, как будто она просто ушла тихо.

Ланской накрыл тело простынёй, медленно и бережно, как накрывают своих. Потом отошёл, сел на табурет у стены и сложил руки на коленях.

В заключении он напишет то же, что писал всегда. Правда стоила бы ему подписи под собственным приговором, а к этому старик был не готов ни раньше, ни сейчас. Ни тогда, в Москве, ни теперь, здесь, где он доживал свой век, топя память в спирте и в работе, что осталась единственным способом существовать.

Доктор сидел и смотрел на тело под простынёй. В той части сознания, которая была ещё не заглушена спиртом и годами, шевельнулось что-то старое, отложенное в дальние уголки памяти с уговором не трогать. Четырнадцатый год, Москва, Мариинская больница. И майское утро в Сдобоподобинске, второй такой случай за тридцать лет работы.

## Глава 6. Прозекторская

Свет из полукруглых окон лежал на цинковом столе серой полосой. Девятое мая, утро. За воротами больничного двора изредка цокали копыта: город ехал на службу и знать не желал, что делается в низком кирпичном здании без вывески, где запах въедается и не выветривается из одежды неделями.

Ланской стоял над столом, сложив руки за спиной. Тридцать лет работы выработали в нём эту привычку: сначала смотреть, потом трогать. Тело лежало на спине, головой к окну. Мужчина лет сорока, широкоплечий, с задубелой кожей. Накануне этот человек значился в списке подлежащих этапированию, и к простыне была приколота справка дежурного фельдшера: «Осмотрено. Противопоказаний к этапу нет».

Справка не лгала. Противопоказаний действительно не было, и ничем другим на сегодняшнее утро Ланской пока не располагал, кроме этой строчки под ржавой булавкой.

Кожа обтягивала рёбра покойника так плотно, что прозектор пересчитал каждую дугу, не касаясь тела. Скулы выпирали остро, под глазами лежали синие впадины, а губы обнажали дёсны в улыбке, которую в руководствах называют *facies hippocratica*. Человек умер так, будто три месяца не видел хлеба, хотя ещё вчера был здоров и годен к дороге.

Вскрытие Ланской начал без промедления. Три разреза, классический доступ, которому его учили в Мариинской ещё до войны. Внутри всё оказалось целым: органы без изменений, сердце упругое, лёгкие розовые и печень обычных размеров. Ни следа голодания, ни пулевого канала или странгуляционной борозды, ни малейшего признака насилия.

Тело молчало. За долгую службу прозектор привык к обратному: покойники разговорчивее живых, они не скрывают ничего и у них всегда находится, что показать. Этот не сказал ничего.

Капля упала в слив, за ней другая. Резиновый шланг над дальним столом подкапывал ровно, и стук капель оставался в комнате единственным звуком, кроме дыхания самого Ланского.

Он снял перчатки и прошёл в закуток за дверью со стеклом, покрашенным белилами. Бланк заключения лежал в верхнем ящике: папиросная бумага, три копии. Первая уходила в ЗАГС, вторая в губздрав, а последняя подшивалась здесь и не читалась никем никогда. Прозектор макнул перо в фаянсовую чернильницу с потрескавшимся краем.

Причина смерти: истощение неясной этиологии, последствия алиментарной недостаточности.

Рука писала ровно и привычно, но на последнем слове перо споткнулось, хотя бумага была гладкой. Не тремор: короткий определённый толчок. Буква «и» в «недостаточности» вышла шире прочих, с неровным верхним элементом.

На эту букву Ланской смотрел дольше, чем на само тело. Провёл пальцем по строке, ощупывая шероховатость просохших чернил, отложил перо, сложил бланк пополам и убрал в карман халата. Формулировка была ложью: ровной, грамотной и принятой к сведению во всех учреждениях губернии. Рука узнала об этом раньше головы, и бумага в кармане хрустнула, ложась к подкладке.

Тело он накрыл промасленной тканью. Клеёнчатый фартук повесил на гвоздь у двери, тот повис криво, и старый врач выравнивал его, не глядя, тем же движением, каким всю жизнь оправлял простыни на покойниках.

Запах карболки остался на манжетах. Ланской почувствовал его, поднося руку к лицу, чтобы поправить очки: резкий, химический и въедливый. Рубашка была стара, локоть заштопан, и карболка сидела в ткани так прочно, что казалась частью узора. Прачка на Полицейской

брала с него вдвое против обычного и стирала его бельё отдельно, последним, после всего дома. Он не спорил и платил вперёд.

Инструменты замачивались в жестяном тазу: скальпели, ножницы и щипцы под слоем мутнеющего раствора. Прозектор сидел за деревянной дверью и смотрел на чернильное пятно, въевшееся в столешницу глубже всякого растворителя. Края у пятна были неровные, оно напоминало озеро на карте местности, где он никогда не бывал.

Пятна он не видел. Вместо стола в комнате с низким потолком и единственной лампой под зелёным абажуром перед глазами стояла Москва, осень тринадцатого года: Мариинская больница, препараторская в цокольном этаже и запах формалина с влажным сукном, которым накрывали столы между вскрытиями.

Сначала пришёл посредник. Невзрачный человек в калошах, надетых по сухой погоде, а на улице стояло сентябрьское утро с низким солнцем и первым инеем на траве у крыльца. Говорил человек вполголоса, будто в соседней комнате могли слышать, хотя в препараторской, кроме них двоих, не было никого. Смотрел при этом мимо — на стену, на потолок и на книжную полку с немецкими атласами в углу.

— Есть заказ, — сказал он. — Специфический. Нужен труп с доступом и без вопросов.

Ланскому шёл тогда пятьдесят второй год, он служил прозектором Мариинской, имел квартиру на Арбате и неоплаченные счета из мебельного магазина. Он слушал и кивал, ни о чём не спрашивая. Спрашивают в подобных случаях либо очень глупые, либо очень принципиальные люди, а он не был ни тем, ни другим и знал это про себя давно без огорчения.

Заказчик явился назавтра. Аптекарь Гильбих, худощавый, аккуратный до неприятности, в светло-сером пальто, слишком новом для осенней Москвы, и в перчатках, почти белых, из тонкой кожи, которых он не снял за весь разговор. Русским языком гость владел безупречно: без акцента и без единой ошибки, с грамотностью, вычитанной по книгам, а не услышанной в разговорах. От такой ровности делалось не по себе, будто перед тобой не живой человек, а граммофонная запись, где каждый звук стоит на месте, а души нет вовсе.

На край стола легли три золотые десятки и бутылка коньяку «Мартель», обёрнутая в бумагу. Монеты были новые, не ободранные, с чёткими буквами на реверсе и профилем императора на аверсе. Холод их сквозь ткань кармана не забылся до сих пор: тяжёлый, металлический и не согревающийся от тела. Коньяк он выпил не в тот вечер, а много позже, когда всё было кончено, и ничего особенного в нём не нашёл.

Заказ был изложен клинически ровно, будто речь шла не о покойнице, а о лекарственном сырье: молодая, здоровая по женской части, недавно умершая и без родни, которая станет задавать вопросы. Репродуктивная система целиком, извлечённая аккуратно, без повреждения соседних органов.

Такая нашлась вскоре: Груня. Аграфена Силантьева, двадцати лет, приют для чахоточных при Мариинской, палата номер семь, койка у окна. Умерла девятого ноября тринадцатого года от туберкулёзного менингита, развившегося на лёгочной форме.

Лицо её прозектор помнил и теперь: бледное, с синевой под глазами, с тонкими, почти прозрачными губами, чуть приоткрытыми, будто она собиралась что-то сказать и не находила сил. Держалось в памяти и другое: она пролежала в приюте дольше всех, почти год, и пережила двух соседок по палате, поступивших после неё. В карточке стояло: «Устойчива к терапии. Прогноз неблагоприятный».

Прогноз оправдался полностью, как оправдывалось там всё. Приют содержался на средства благотворительного общества, и оно ежегодно отчитывалось перед жертвователями о числе призреваемых, а выживших не считало вовсе. Цифра выходила внушительная, и жертвователи оставались довольны.

Репродуктивная система у покойной оказалась, как на таблице из атласа, и это Ланской проверил лично, вскрывая её на другой день. Матка нормальной величины, яичники симмет-

ричные, трубы проходимы и эндометрий без патологии. Всё чисто и здорово, как у девушки, ничем, кроме чахотки, не болевшей и умершей вовремя: достаточно поздно, чтобы родня перестала ходить, и достаточно рано, чтобы ткани сохранили свежесть.

Извлёк он всё аккуратно, одним блоком, как учили в школе Вирхова: матка с шейкой, обе трубы, оба яичника и связочный аппарат. Уложил в стеклянную банку, залил формалином доверху, закрутил крышку и обернул суконной тряпкой. Посреднику передал вечером того же дня, у заднего входа в больницу, где стояла помойка и куда без надобности не ходил никто.

Одну десятку прозектор истратил на новое пальто и обед в «Праге» на Арбате, две другие ушли на книги, заказанные по берлинскому каталогу. Книги пришли через три месяца, когда он уже почти забыл и Груню, и аптекаря в светлых перчатках. Пальто прослужило до восемнадцатого года и было обменено на муку, книги стоят у него на полке до сих пор.

Осень четырнадцатого пришла с войной. Мобилизация, первые эшелоны с фронта, Мариинская, принимавшая раненых потоком. Ланской сутками не выходил из операционной: пулевые и осколочные раны, газовые ожоги. Однажды вечером, вернувшись домой на Арбат, он застал в передней Гильбиха, мокрого, растрёпанного и не снявшего калош у порога.

Аптекарь был стариком лет шестидесяти, хотя выглядел моложе оттого, что содержал себя с механической опрятностью. От неё в тот вечер не осталось ничего. Он стоял посреди крошечной прихожей и кричал — не повышал голос, а именно кричал, срываясь на фальцет в самых неожиданных местах, будто связки у него были настроены на чужую частоту.

— Ты кого мне подсунул? — орал он, размахивая руками, хотя в руках у него ничего не было. — Она проявляет все способности суккуба! Все до единой! Я проверял, и дважды, и трижды!

Ланской решил тогда, что старик спятил от собственных опытов. Слово «суккуб» осталось в памяти как книжное и чужое, вычитанное в средневековых трактатах или в бульварных романах, какие продавались на Разгуляе по три копейки. Он стоял в дверях с мокрым пальто на руке и не понимал ровным счётом ничего: ни про суккубов с их способностями, ни про то, что делается в его прихожей поздним вечером посреди рабочей недели.

Гильбих кричал ещё долго, потом замолчал внезапно, одёрнул галстук, сухой при мокрой насквозь одежде, повернулся и вышел, не простившись и не затворив за собою дверь. Ланской так и не понял, что он имел в виду, чего кричал. А после, когда война затянулась и революция снесла и Мариинскую, и Арбат, и всё прочее из той жизни, старый аптекарь забылся, тем более, что Гильбиха он с того вечера не видел больше никогда.

Только слово «суккуб» осталось в памяти само по себе, как застревает случайно услышанная мелодия, всплывающая потом без всякой причины.

Прозектор поднялся, не дав воспоминанию дойти до конца. Сидеть на одном месте он давно не мог: спина затекала, колени деревенели, а работа на сегодня была не закончена. Он надвинул очки, провёл ладонью по лицу, ощупывая щетину, не бритую с утра, и вышел из закутка в сторону архива.

Инструменты в тазу замачивались дальше, покрываясь белёсой плёнкой, которая густела медленно, как забытый на плите суп.

Архив больницы занимал длинную комнату в конце коридора, бывшую бельевую кладовую, переоборудованную под бумаги в семнадцатом году, когда документов сделалось больше, чем лекарств. Полки шли вдоль стен от пола до потолка, папки на них лежали коричневые, серые и чёрные, и корешки выцвели настолько, что без очков названия уже не читались.

Пахло бумажной трухой, сладковато и затхло, с примесью плесени, какая держится в любом архиве, сколько его ни проветривай. Пыль лежала на корешках ровным слоем, как снег на крыше сарая: сдувалась от одного дыхания и оседала обратно, стоило отвернуться. Под окном стояли ящики с карточками, металлические, зелёные, с выцветшими этикетками и заедающими направляющими, скрипевшими при каждом движении.

К полке с собственными заключениями Ланской подошёл без спешки. За последний год их набралось немного: губерния небольшая, смертность после голода двадцать первого держалась низкой, слабых голод забрал заранее, а остальные выучились жить любой ценой. Он выдвинул ящик с делами за май, потом за апрель и перебрал папки вьедливо, как ищут в старых газетах объявление о пропавшей собаке.

Нашёл быстро. Два заключения за две последние недели, оба его рукой, оба на папиросной бумаге, с теми же графами и печатью в углу.

Первое: рабочий с пристани, двадцати восьми лет. Поступил седьмого мая мёртвым, без документов, подобран на улице у Волжского элеватора. Мужчина здоровый, без хронических болезней по амбулаторной карте. Карта, впрочем, находилась редко: половина губернии лечилась у знахарок припарками, и заключение прозектора нередко оказывалось единственной бумагой о человеке, если не считать метрики с расплывшейся печатью.

На вскрытии обнаружилось то же, что и сегодня: крайнее истощение, кожа на рёбрах и впалые щёки. Ни следов насилия, ни внутренних изменений, ни единого обстоятельства, объясняющего, отчего здоровый мужчина умер за одну ночь, будто не ел три месяца. В графе о причине смерти стояло привычное: истощение неясной этиологии, последствия алиментарной недостаточности.

Второе: парень из слободы за Гнилым оврагом, двадцати трёх лет. Поступил третьего мая, тоже мёртвым, тоже без видимых причин. Найден во дворе собственного дома, где жил с матерью и двумя младшими сёстрами.

Мать показала фельдшеру, принимавшему тело, что накануне сын был здоров, поел щей с мясом, лёг спать и не проснулся. Мяса в слободах не видели с прошлой осени, и про мясо Ланской записывать не стал: женщина соврала из приличия, перед казённым человеком стыдно признаваться, чем кормишь сына на самом деле.

На вскрытии открылась та же картина. Кости да кожа. Ни кровоизлияний и повреждений, ни признаков отравления или удушья. Только истощение, стремительное и полное, будто за несколько часов сна из парня выжали все соки.

Сегодняшнее заключение прозектор достал из кармана халата, развернул и положил рядом с двумя другими на край полки. Не перебирал и не сличал, просто выложил в ряд, как раскладывают пасьянс, чтобы увидеть последовательность.

Слабый свет из узкого окна под потолком лежал на трёх листах наискосок, пересекая графу о причине смерти ровно посередине. Бумага под лучом просвечивала, и чернила проступали на обороте зеркальными буквами.

Три листа, три даты: третье мая, седьмое и девятое. Молодые мужчины двадцати трёх лет, двадцати восьми и около сорока. Диагнозы одинаковые, писанные одной рукой и такой наукообразной формулировкой, что за нею свободно помещалось полное непонимание происходящего. Ланской подровнял листы, и бумага сухо зашуршала под пальцами.

Ланской стоял и смотрел на заключения, не трогая их и не отыскивая различий, которых не было. Одно всё же нашлось, но к делу не относилось: последнее заключение он написал сегодня утром, и на последнем слове у него споткнулось перо.

Совпадение было полным, а в медицине такое называется закономерностью. В эпидемиологии подобные вещи имеют название, и в судебной медицине тоже. В любом деле, где события записывают, разносят по графам и складывают, три одинаковых случая за неделю перестают быть случайностью и становятся поводом для срочного доклада начальству.

Ланской знал это лучше многих. Знание лежало в той области памяти, где хранились долг врача, клятвы и правила, выученные наизусть в молодости, а теперь всплывавшие обрывками, вроде стихов, заученных в детстве и наполовину забытых.

Он сложил листы. Сначала сегодняшней, пополам, совместив края так ровно, как складывают казённые бумаги. Потом за седьмое мая. Потом самый ранний, за третье. Положил их

обратно в папку, задвинул ящик до щелчка, и металл проскрипел по дереву, как скрипит всякое хранилище, которое открывают редко.

Ланской ушёл. Не к начальству и не к телефону, не к тем, кому полагалось докладывать о подобных вещах. Просто вышел из архива тем путём, каким пришёл: коридором, через двор, мимо мертвецкой, где на цинковом столе лежало под промасленной тканью тело сегодняшнего покойника, мимо всего, из чего складывалась его рабочая жизнь уже который год подряд.

За окном архива кричали. Не от боли или страха, а как кричат на базаре, торгуясь или зовя потерявшегося ребёнка. Голос тянул долго, с хрипотцой, на одной надсадной ноте.

Ланской крика не услышал. Или сделал вид, и разница между тем и другим за долгую практику стёрлась до полной неразличимости.

Вечер в комнате на Полицейской наступал рано. Окно сидело наполовину ниже уровня улицы, и свет попадал в него только тогда, когда солнце стояло высоко. К концу дня комната погружалась в полумрак, какой держится во всех полуподвалах, где время идёт по собственным правилам.

Ланской сидел за столом с обожжённой клеёнкой. Она была стара и потёрта, у края темнели два круглых пятна, следы от горячего, поставленного без подставки. Посередине лежали «Известия» за вчерашнее число, тонкий сложенный вдвое лист с заголовками о весеннем севе и продналоге. Газету он прочёл ещё утром, за завтраком, и теперь она лежала перед ним, шурша краем от сквозняка.

Керосиновая лампа стояла на краю стола, фитиль вывернут на три четверти, свет жёлтый, неровный и дрожащий от каждого дуновения из щели в раме. Рядом с лампой стоял стакан, не рюмка, а именно стакан, толстостенный, с ободком по краю, налитый до половины жидкостью янтарного цвета.

Не водка и не самогон, а аптечный спирт, который прозектор получал через знакомого фармацевта и пил, не разбавляя. Разбавлять было нечем, а портить такой спирт колодезной водой он полагал кощунством. Из всего, что осталось от московской жизни, требовательность к качеству спирта сохранилась лучше прочего.

Под полотенцем на тарелке лежал хлеб, чёрный, резаный, ни свежий, ни чёрствый. Такой можно есть, если сильно захотеть, или макать в спирт, если есть не хочется, а положить что-нибудь в желудок перед сном надо. Ланской к тарелке не притронулся. Он просто знал, что хлеб есть, и этого знания хватало, чтобы не считать себя голодным.

На стене, прямо напротив стола, висела фотография. Мариинская больница, снимок восьмого года, врачи и средний персонал в три ряда, человек девяносто, все в белых халатах и все смотрят в объектив с той старательной осанкой, какая откуда-то берётся у людей, снимаемых для истории.

Ланской стоял третьим слева во втором ряду, с бородой, ещё не седой, с прямым взглядом и чуть приподнятым подбородком: впереди у него полагалось быть пятнадцати годам работы, открытий и жизни, выбранной однажды и навсегда. Пятнадцать лет действительно оказались впереди. Но потратил он их иначе.

Теперь, при свете керосиновой лампы, прозектор себя на снимке почти не узнавал. Человек с фото на стене и человек за столом были связаны именем и профессией, но не опытом и памятью, не теми решениями, которые принимаются в тёмных комнатах, где пахнет карболкой и старой бумагой.

На полке над столом стояли книги. Вирхов в трёх томах, толстый, в коже, с золотым тиснением на корешках, привезённый из Москвы в чемодане в девятнадцатом году. Немецкие руководства по патологической анатомии, три штуки, все на языке подлинника, с закладками из обрезков бумаги на важном и спорном.

Атласы с раскрашенными от руки таблицами стояли с краю. Их он заказал из Берлина на две золотые десятки, оставшиеся от платы Гильбиха, и теперь они лежали под пылью: поль-

зоваться ими в губернской больнице было примерно так же уместно, как держать выездную упряжь в городе без лошадей.

Пил он медленно, будто дорогое вино, хотя на вино аптечный спирт не походил ни вкусом, ни запахом, ни последствиями. Дело было в привычке: день должен был не обрываться, а перетекать в ночь через этот желтоватый, горьковатый и обжигающий горло напиток.

За окном по мостовой мелькали сапоги прохожих. Одни шли быстро, стуча каблуками по брусчатке вразнобой, как стучат на ходу спешащие. Другие двигались вразвалку, переставляя ноги нехотя, по одной, словно без особой надобности. Близко проскрипело колесо телеги, тяжёлое, деревянное, с железным ободом, скрипевшее всегда, сколько его ни смазывай.

Потом улицу перебежала кошка, тёмная и быстрая, едва различимая в сумерках, и скользнула из одной тени в другую. Прозектор проводил её глазами до конца: за весь вечер она была единственным живым, что прошло мимо его окна целиком.

Ланской смотрел на всё это, не вставая с места, как смотрят на огонь или на текущую воду, отмечая один только факт чужой жизни, которая шла за стеклом сама по себе.

Потом он развернул «Известия». Бумага хрустела под пальцами, тонкая, шершавая, ещё пахнувшая типографской краской, смесью свинца и масла и ещё чего-то, чему нет названия, но что безошибочно узнаётся как запах свежей газеты.

Первую полосу прозектор пробежал глазами: посевная, продналог, собрание ячейки на спичечной фабрике, объявление о лекции по гигиене для работниц. Ничего нового и ничего способного удивить после дня, проведённого среди мёртвых тел и старых бумаг.

Взгляд наткнулся на заметку в нижнем углу, под рубрикой о кадровых назначениях. Шрифт мелкий, абзац короткий, всего в три предложения.

«Решением ЦК РКП(б) от 12 апреля на должность секретаря губкома назначена Августина Карловна Гильбих. Товарищ Гильбих прибыла в губернию 27 апреля и вступила в должность 1 мая. Партийный стаж с 1919 года».

Ланской опустил газету на стол. Не бросил и не швырнул, ничего резкого, положил на клеёнку ровно, разгладил ладонью, будто устранил невидимую складку, и остался сидеть.

Имя лежало перед ним чёрным по белому, набранное тем же шрифтом, что посевная и продналог, с той же казённой ровностью, которая не выдаёт ни возраста и происхождения, ни историй, стоящих за фамилией. Августина Карловна Гильбих. Секретарь губкома. Партийный стаж с девятнадцатого года.

Гильбиха он знал за всю жизнь одного. Аптекаря. Старика в светлых перчатках, заплатившего золотыми десятками за репродуктивные органы умершей чахоточной и однажды явившегося к нему на квартиру мокрым, в калошах, с криком про суккубов, от которого на площадку вышла соседка.

Недопитый стакан отражал свет лампы ровным жёлтым кругом, дрожавшим от каждой проезжавшей телеги. За окном опять прошли сапоги, не замедлив шага — никому не было дела ни к полуподвальному окну, ни к газете, ни к жёлтому пятну.

Ланской сидел за столом и ничего не делал: не пил и не вставал, не поднимался за пальто, чтобы идти с докладом или с предупреждением. Телефона у него не было, и это избавляло от нужды решать, звонить или нет. Он просто сидел и смотрел на заметку, как смотрят на диагноз, поставленный себе самому и потому не подлежащий обжалованию.

За окном темнело. Стук сапог уходил всё дальше, делался тише и реже, пока не слился с общим гулом вечерней улицы: со скрипом колёс, с лаем собаки и с криком ребёнка в глубине двора. Различить, где кончается один звук и начинается другой, было уже нельзя.

## Глава 7. Декрет

Губком ночью становился другим зданием. Днём в нём стоял ровный рабочий гул: голоса в коридорах, стук «Ундервуда» из приёмной, звонки телефона, запах мокрого сукна, махорки и сургуча. К полуночи оставались тишина и шаги сторожа.

Старик обходил этажи с ключами на поясе, останавливался у каждой двери, слушал и шёл дальше. Три быстрых шага, один медленный. Августина разобрала этот порядок в первую же ночь и с тех пор определяла по звуку, на каком он этаже.

Работала она в угловом кабинете на втором этаже. Дверь была прикрыта, но не заперта: запирается в губкоме считалось дурным тоном даже ночью, даже когда в здании не оставалось никого. Правило Августина усвоила на третий день. Запертая дверь стоила бы объяснений, а платить за них она не собиралась. Из коридорной щели тянуло карболкой и остывшей печью.

На длинном столе под зелёным сукном в чернильных пятнах прежних заседаний лежали подшивки декретов за пять лет. Она листала их ровно: левой рукой переворачивала страницы, правой подчёркивала карандашом обороты, которые могли пригодиться. «Ввиду того что». «Настоящим отменяется». «В целях упорядочения».

Смысл прочитанного её не занимал. Августина искала конструкцию. За пять лет через этот стол прошли распоряжения о дровах, о банях, о борьбе с сыпняком, о нормах выдачи мыла, и все они были устроены одинаково: преамбула, основание, пункты и подпункты. Мыло, дрова и женщины ложились в эту форму равно хорошо, конструкция выдерживала любое наполнение. Главное свойство эпохи она установила быстро: от бумаги требовалось правильное построение, смысл в неё не входил.

Рядом лежала раскрытая брошюра Коллонтай «Дорогу крылатому Эросу!». Страницы были загнуты, но не там, где говорилось о свободной любви. Августина выписывала на отдельный лист лексику, годную для официального текста: «освобождение от оков», «равенство полов», «новый человек». На всю брошюру пригодных оборотов набралось полтора десятка.

Горела одна лампа, настольная, с зелёным абажуром. Люстру под лепным венком она не включала: две уцелевшие лампочки на двенадцать патронов давали больше тени, чем света, и жгли ток, за который потом отчитывались отдельной бумагой.

За окном Дворянская была пуста: ни фонарей, ни прохожих, только скрип телеги вдалеке да собака со стороны собора, которая полаяла и умолкла. Второе окно выходило во двор, в чёрный колодец, откуда тянуло мокрой золой и помоями.

Августина взяла чистый лист и написала сверху, по центру, ровным почерком: «Об отмене частного владения женщинами».

Дальше она выстроила логику. Женщина освобождается из частной собственности мужа так же, как земля освобождена от помещика. Женщина есть труженик и строитель нового общества, а частное владение трудящимся человеком противоречит основам пролетарского государства.

Писала она без остановок: текст сложился раньше, чем она села за стол. Пункты шли от общего к частному. Учёт всех женщин от восемнадцати лет в комиссиях при волисполкомах. Справка от завкома или сельсовета о трудовой деятельности и об отсутствии венерических заболеваний. Фонд народного поколения с ежемесячными отчислениями от заработка всех трудящихся мужчин. Распределение сообразно потребностям народного хозяйства и личным склонностям.

Каждый пункт разбивался на подпункты, каждый подпункт — на абзацы. О женщинах она писала теми же словами, какими в этих подшивках писали об инвентаре и о поголовье, и это её устраивало: на знакомых оборотах глаз читающего не спотыкается.

Расчёт был простой, и Августина назвала его себе прямо. Разврат её не занимал. Ей нужны были списки. Охота за каждым отдельным человеком расточительна, она уже проверила, сколько остаётся от сорокасемилетнего служащего и надолго ли этого хватает. Учёт, справка и повестка сделают своё, женщин начнут приводить к ней сами, а комиссии при вол-исполкомах будут работать на неё, не догадываясь, кому сдают отчётность.

Дверь скрипнула, и Августина не подняла головы, только замедлила перо. Шаги были знакомые.

На пороге стоял сторож. Старик лет шестидесяти, в потёртой шинели с оторванными пуговицами, ключи на железном кольце позвякивали у него в руке. Внутри он не вошёл, остался в дверях и осторожно косился на разложенные по сукну бумаги.

— Засиделись, товарищ Гильбих, — сказал он вполголоса, будто в соседней комнате кто-то спал. — Прежний-то хозяин тоже до петухов сидели. Голенищев. Писатель был, бумаги эти свои строчил без передышки. Я ему чай носил, а он и спасибо не скажет, кивнёт только: ставь, мол, и ступай. Вы чаю не желаете? Самовар внизу, угли ещё тлеют.

Августина дописала фразу о порядке распределения и лишь тогда ответила, не отрываясь от листа.

— Не надо. Спасибо.

— Как знаете, — старик переложил кольцо с ключами из руки в руку, и они звякнули коротко. — Ну, я пойду. Этаж обойти, двери проверить. Вы, коли что, звоните, телефон в прихожей работает.

Он вышел, прикрыв дверь с тем же аккуратным скрипом. Шаги удалились по коридору в прежнем неровном порядке и стихли где-то за поворотом лестницы.

Замечание о прежнем хозяине Августина приняла к сведению как информацию. Голенищев тоже сидел ночами, значит, свет в угловом окне не выделяет её ни для улицы, ни для сторожа. Слово «спасибо» она отметила отдельно: старик помнил его отсутствие восемь лет и рассказал об этом первому новому лицу. Августина беззвучно проговорила это слово, разминая губы, и вернулась к перу.

Последним был написан пункт о порядке обжалования решений комиссий. Обжалование ничего не отменяло, но такой пункт стоял едва ли не в каждой подшивке на этом столе, и с ним бумага ложилась в общий ряд, не цепляя чужого глаза. Больше ей ничего и не было нужно.

Текст занял четыре страницы, только цифры пунктов по левому краю, как в уставе. Августина сложила листы, выравнивая края. Получился ровный плотный блок, которому завтра в канцелярии присвоят входящий номер.

Потом она сняла перчатки, и это было единственное движение за вечер, выпавшее из рабочего порядка. Сложила одну поверх другой на краю стола и осталась сидеть с открытыми руками, разглядывая их при лампе. Ни колец, ни следов от них, ни отметин, какие остаются у людей от украшений или от работы. Просто руки. Кожа на костяшках была суховатой от перчаток и слабо отдавала тальком.

Секретарь губкома посидела так недолго, потом надела перчатки обратно, поправила их на пальцах и поднялась.

За окном было всё так же темно. Августина постояла у стекла, заложив руки за спину. От стекла тянуло ночным холодом. Город спал весь, до последнего двора, а на сукне за её спиной лежали четыре страницы, и сна они у неё не отнимали.

Утро в губкоме начиналось со стука шагов по паркету и запаха мокрого сукна плащей, промокших под майским утренним дождиком. Вниз и вверх по лестнице шли люди с портфелями, на площадке между пролётами уже курили, стряхивая пепел в жестянку и вполголоса обсуждая вчерашнее заседание. Августина прошла мимо, не замедляя шага. Под мышкой она несла папку с четырьмя страницами, написанными ночью.

Канцелярия занимала длинную комнату на первом этаже, рядом с гардеробом. При земстве здесь сидели писаря и регистраторы, теперь сидели те же люди, только назывались иначе и получали деньги из другого кармана.

Пахло пылью и старой бумагой, тем стоялым духом, какой заводится там, где десятилетиями ничего не выбрасывают, а только подшивают. На подоконнике росла герань в глиняном горшке, и больше живого в комнате не было, если не считать людей, да и то не всех.

За конторкой у дальней стены сидел Евстигней Палыч, пожилой мужчина пятидесяти восьми лет, бывший земский регистратор, ныне заведующий канцелярией губкома. Одевался он как при земстве, только пуговицы на сюртуке теперь были простые, жестяные и кооперативные, без орла. Глаза его видели столько смен власти, что перестали отзываться на перемены.

Оттиск он ставил не глядя. Левой рукой брал бумагу, правой штемпель, перекладывал лист вправо. Взгляд при этом уходил в стену перед собой, и Августина решила, что человек за конторкой ей не понадобится ни для чего, кроме одного движения руки. Проверяла она порядок, а не его.

Она положила перед ним четыре страницы:

— Зарегистрируйте как поступивший документ.

Евстигней Палыч взял бумагу не читая. Развернул, прошёл глазами первую строку — «Об отмене частного владения женщинами» — и свернул обратно с тем же лицом, с каким брал предыдущую. Потом открыл журнал входящей корреспонденции, обмакнул перо и занёс его над первой пустой строкой.

Перо остановилось. Заведующий канцелярией поднял на неё влажные добродушные глаза и задал вопрос, который задавал всем приносящим бумаги тридцать лет подряд.

— Откуда поступил документ-то, товарищ Гильбих?

В комнате стало слышно, как тикают часы над дверью. Августина не ответила сразу, потому что ответ был готов и требовал только выдержки: дать вопросу повисеть, пока он не покажется старику неуместным.

— Разве в журнале есть графа «Откуда»?

Евстигней Палыч посмотрел в книгу. Такой графы не было. Были «Номер», «Дата поступления», «Краткое содержание» и «Куда направлено» — всё, что полагалось по земской инструкции, которую никто с тех пор не менял. Про «Откуда» не спрашивали ни при земстве, ни при Временном правительстве, ни теперь.

Он кивнул, но не ей, а себе, подтверждая, что спросил лишнее, и вписал документ под очередным номером. Дата сегодняшняя. Краткое содержание: «Об отмене частного владения женщинами». Резолюция: пусто. Куда направлено: на рассмотрение бюро.

Рядом с записью лёг штемпель с гербом и словом «Получено» по краю. Бумага ушла в стопку справа, и заведующий канцелярией взял следующую, отчёт о посевной кампании. Ни вопроса, ни заминки. Порядок принял чужой текст и выдал за него номер, оттиск и строку в книге, а больше Августине здесь ничего и не было нужно.

За окном показалось майское солнце, герань тянулась к нему, а в книге входящих под номером сто сорок семь стояла запись о бумаге, которая ниоткуда не поступала и с этой минуты существовала на законных основаниях. Августина запомнила номер и вышла. За её спиной штемпель глухо стукнул по следующему листу, и ещё раз, и стук этот повторялся ровным ходом до самого обеда.

Двадцать восьмого мая зал заседаний набился до отказа. Стулья снесли со всего здания, часть — из рабочего клуба. Ставили их вплотную, локти соседей соприкасались.

За трибуной висел лозунг во всю стену, кумач выцвел, но читался. На столе президиума стоял графин с тёплой водой: лёд в губкоме вышел ещё с прошлой зимы, а нового никто не запас. Окна держали открытыми, и всё, что говорилось внутри, слышала улица. Воздух всё

равно стоял спёртый, кисловатый от пота и махорки: шестьдесят человек набились в зал, где обычно рассаживалось сорок.

Августина вышла к трибуне. Руки в перчатках легли на край доски и остались неподвижны. Она открыла папку, разложила листы и начала читать.

— Товарищи. Революция освободила землю от помещика, фабрики — от капиталиста и рабочих — от эксплуататора. Но один вид частной собственности до сих пор остаётся в нашем быту нетронутым. Частная собственность на женщину.

Читала Августина ровно, без подъёмов и спадов голоса, как читают инструкцию к станку. Зал принял этот тон и слушал так же, как слушал бы про нормы отпуска дров. Докладчица отметила, что тон в собрании задаёт тот, кто заговорил первым, и что до сих пор это правило её не подводило.

— Декреты декабря семнадцатого года отменили частную собственность на средства производства. Кодекс законов о труде восемнадцатого года закрепил равные права женщин и мужчин. Формальное равенство ещё не означает освобождения. Женщина остаётся в рабстве у мужа, у семьи и у домашнего очага, у пережитка буржуазного строя, который мешает ей стать полноправным строителем нового общества.

В третьем ряду записывали, перо скрипело ровно и однообразно. В задних рядах кашляли сухо и надсадно, и никто за это не извинялся.

— Мы предлагаем следующее. Все женщины от восемнадцати лет подлежат обязательной регистрации в комиссиях при волисполкомах. Каждая получает справку от завкома или сельсовета о трудовой деятельности и состоянии здоровья. Учреждается фонд народного поколения с ежемесячными отчислениями от заработка всех трудящихся мужчин. Комиссии распределяют женщин сообразно потребностям народного хозяйства и личным склонностям.

Свой ночной текст Августина подавала как директиву из центра, которую остаётся довести до сведения присутствующих, и зал слышал ровно это.

Когда она закончила, в зале стало тихо. Тишина держалась ровно столько, сколько требуется, чтобы понять услышанное и сообразить, что переспрашивать не следует. Потом председательствующий объявил прения, и первым поднял руку Шапошный.

Председатель губпрофсовета встал не торопясь, поправил гимнастёрку и заговорил голосом производственного совещания.

— У меня вопрос по процедуре, товарищ Гильбих. Как оформлять по производству? Кто выдаёт справку, завком или дирекция? И за чьей подписью?

Существа дела вопрос не касался. Шапошного не занимало, правильно ли освобождать женщину от частной собственности, его занимало, какой подписью и на каком бланке это освобождение оформляется. Августина ответила в той же плоскости.

— Справку выдаёт завком. Подпись председателя завкома и секретаря партячейки. Бланки будут утверждены отдельным циркуляром.

Шапошный кивнул и сел, вынул из потёртой папки листок и сделал пометку рядом с такими же пометками со всех прочих совещаний. Карандаш он послунил, прежде чем писать.

Следующим поднялся Лущик, заведующий губоно, бывший учитель истории. Встал он не сразу — сперва оглядел зал, проверяя, нет ли охотников выступить раньше, и, убедившись, что таких нет, заговорил тихо, перебивая сам себя и оговариваясь.

— Я, конечно, не против, товарищи, идея прогрессивная, это бесспорно, но... Есть некоторые сомнения относительно того, как это будет воспринято на местах. Деревня у нас тёмная, понимаете, народ необразованный, могут понять превратно... Могут подумать, что это вроде... Ну, вы понимаете. Перегибы возможны. Я просто хочу сказать, что нужно действовать осторожно, с оглядкой на местные условия, не торопясь...

Голос его садился с каждой фразой. Пальцы перебирали край пиджака. Зал молчал и смотрел куда угодно, только не на него.

Августина посмотрела на заведующего губоно прямо и подобрала выражение, какое бывает у врача, выслушивающего жалобу на несуществующую болезнь. Чужие лица она перенимала легко и знала, что вежливость действует надёжнее возражения.

— Вы полагаете, товарищ Лущик, что раскрепощение женщины преждевременно?

Лущик заморгал. Губы у него подрагивали, слова шли с трудом.

— Я полагаю, что на местах поймут превратно... — начал он.

— То есть женщина, по-вашему, должна оставаться в собственности мужа ещё некоторое время, — Августина не повысила голоса. — До какого именно года?

В зале рассмеялись. Один короткий смешок, оборвавшийся раньше, чем на него успели обернуться, но в общей тишине его хватило, чтобы Лущик вздрогнул.

Года у него не было. Ни года, ни месяца, ни срока, который можно было бы назвать вслух и не оказаться при этом дураком. Он стоял и молчал, и Августина не стала помогать ему. Становилось яснее, что заведующий губоно возражает против самой перемены, а не против пунктов, и что за ним ничего нет.

Тюрин, сидевший в президиуме, не поднял глаз от стола и произнёс одну фразу, тихо, но в тишине зала её услышали все.

— Товарищ Лущик мыслит категориями мещанского быта.

Августина отметила и это. Предгубисполкома торопился высказаться вторым, но не первым, и выбрал сторону раньше, чем понял, что именно поддерживает.

Выступать больше никто не захотел. Лущик сел, побледневший, и до конца заседания не поднял головы. Прения кончились, оставалось голосование, и в его исходе Августина уже не сомневалась: возражать было некому и нечем.

Ещё один деловой вопрос задал Ястребицкий. Заведующий губздравом поднялся, снял пенсне со шнурка, протёр его и спросил о венерических болезнях, не идеологически, а по медицинской части: как быть с осмотрами, кто их будет проводить и какие критерии годности. Августина ответила, что осмотр обязателен для всех перед регистрацией, проводить его будут врачи губздрава, а критерии те же, какие приняты при поступлении на работу.

Ястребицкий занёс ответ в блокнот дословно, как заносил всякое полученное указание последние двадцать лет, и сел. Августина отметила, что слово «годность» применительно к женщинам губернии не вызвало в зале ни одного движения.

Проголосовали единогласно. Руки поднимались одна за другой, от президиума до задней стены, ни против, ни воздержавшихся не оказалось.

Слепцов поднял руку вместе со всеми. Смотрел он при этом не на президиум и не на трибуну, а на зелёное сукно перед собой. В протоколе это будет выглядеть просто: принято единогласно, и его фамилия войдёт в число принявших решение наравне с прочими. Рука поднялась ровно и без усилия. Когда остальные уже опустили свои, его ещё стояла дольше, чем требовалось, и опустил медленнее.

После заседания на лестничной площадке курили двое. Один, в потёртом пиджаке, разминал табак пальцами. Другой, постарше, с сединой на висках, прислонился к подоконнику и смотрел во двор.

— Ты чего голосовал-то?

Тот, что постарше, затянулся и выпустил дым ровной струйкой.

— А ты чего?

Первый не ответил. Пожал плечами, докурил, бросил окурок в жестяную банку на подоконнике и вышел, не прощаясь. Второй докурил свою и ушёл следом.

На площадке остался запах махорки и стук шагов по мраморным ступеням, который скоро стих.

Тридцатого мая «Известия» вышли с заголовком на всю первую полосу: «ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ — ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РЕВОЛЮЦИИ». Под заголовком стояла передовая за подписью «А. Грозовой».

Слог этот Гнездилов вырабатывал годами, читая Коллонтай и Арманд и рассчитывая, что стихи его однажды возьмут в центральные газеты. Первую в жизни передовую он писал всю ночь, а утром перечитал её семь раз и остался доволен шестью местами из семи.

«Товарищи! Революция, сокрушившая старый мир, не может остановиться на полпути. Она должна дойти до самого основания, до самых корней старого быта, до тех тёмных углов, где ещё прячется частнособственнический инстинкт, выдающий себя за любовь, за семью и за священные узы брака...»

И так далее, на три колонки: восклицательные знаки, цитаты из Ленина, риторические вопросы с ответами на них и обещание свободы для женщины, какая есть у рабочего на национализированной фабрике.

Рядом шёл полный текст декрета. Четыре страницы, написанные ночью в угловом кабинете, легли на газетную бумагу тем же шрифтом, каким печатали сводки о посевной. Номер, дата, подпись секретаря губкома, всё на месте. Подписи Августина не ставила, документ числился входящим, а не исходящим, но в наборе разницы не было видно, и в губернии никто не стал сверять газету с журналом.

В типографии на Троицкой пахло горячим металлом, краской, бумажной пылью и махоркой. Плоскопечатная машина шла без остановки, и от грохота дрожали стёкла.

Сразу после утреннего тиража на ней стали печатать бланки регистрации, о которых спрашивал на пленуме Шапошный: фамилия, имя, отчество, возраст, место работы, семейное положение, состояние здоровья, внизу место для двух подписей и печати. Ничего, что могло бы вызвать затруднение при заполнении.

Наборщики паковали ещё тёплые листы в пачки по пятьдесят штук. Для них это были буквы, строки и абзацы, которые нужно отпечатать и сдать в срок. Содержание касалось их постольку-поскольку. Пальцы у всех были в краске до второй фаланги, и краска не отмывалась щёлоком.

Сопроводительное письмо волисполкомам принесли Тюрину на подпись к вечеру. Секретарша положила бумагу на стол и спросила, не желает ли он ознакомиться с текстом. Спрашивала она это всегда и обо всех бумагах.

Тюрин не поднял глаз. Он подписывал отчёт по углю, и рука шла сама, выводя размашистый росчерк.

— Решение бюро уже принято.

Росчерк лёг на письмо, и оно отправилось в стопку готовых. Секретарша убрала его в папку и вышла, притворив за собой дверь.

За двадцать лет службы предгубисполкома выучился не читать того, что уже решено. Прочитанное потом труднее забыть, а забывать ему приходилось часто.

Письмо ушло вниз, в канцелярию. Евстигней Палыч поставил на нём штампель и вписал в журнал исходящей корреспонденции. Наутро его развезут по волисполкомам губернии, начиная с Заволочного, а те разошлют дальше, по сельсоветам и заводским комитетам — до людей, которым декрет предстоит исполнять.

Второго июня в канцелярии зазвонил телефон. Евстигней Палыч снял трубку и ответил, что справок по телефону не даёт и что запрос надлежит прислать телефонограммой. Немного погодя телефон зазвонил снова. Потом ещё раз.

Звонили все три раза из Заволочного уезда и по одному и тому же делу. Между звонками проходило ровно столько, сколько нужно, чтобы на другом конце провода обсудить полученную бумагу, растеряться, попробовать разобраться самим и потом снова взяться за трубку.

Первую телефонограмму принёс курьер, мальчишка лет пятнадцати. Он влетел, захватившись, сунул Евстигнею Палычу смятый клочок и умчался, не дождавшись ответа. Почерк на кло

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.